С. Я. САВИНОВ

РАСПЯТИЕ

повесть

МЮНХЕН – 1947

С. САВИНОВ

РАСПЯТИЕ

(Повесть из пражской жизни)

МЮНХЕН
1947

Посвящаю жене — моему другу и сотоварищу.

Автор.

ГЛАВА I

ДЯ вниз по замковой лестнице, Филиппов по обыкновению остановился на круглой площадке и подошел к балюстраде. Каждый раз он с неизменным удовольствием глядел отсюда на красавицу стобашенную Прагу. Далеко внизу разноцветными пятнами играли в лучах заходящего солнца остроконечные крыши домов Малой Страны, их как бы покрывал огромный зеленый купол храма святого Николая, а за серо-желтой громадой его пышно-тяжелых форм виднелись на серебре реки мосты и в дымке лежал город, каменное месиво тысяч домов и сотен башен.

Вот уже два года, чуть ли не ежедневно, на пути от квартиры Филиппов здесь останавливался и любовался знакомой картиной.

Серый дождливый день накрывал город перламутровой полупрозрачной тканью, смягчая острые взлеты колоколен и резкие контуры башен... Золотое солнце открывало новую игру теней в кривых уличках и на фоне синего неба позволяло видеть контуры даже самых дальних предместий... В зимний день белизна снега на крышах и улицах подчеркивала архитектурные сплетения средневековых строителей, а летняя зелень создавала восхитительную раму этой картины, знакомой и всегда радостно новой.

Сегодня, выйдя в город только с целью пройтись перед назначенным деловым свиданием, Филиппов задержался дольше обычного. Ярко-желтые и красные блики зрелой осени расцветили пейзаж восторженно-вакхическими тонами и, словно в унисон с ними, из глубины мерно плыли густые удары церковного колокола. Бросив быстрый взгляд на поднимающийся за домами

склон парка, играющий пестрой смесью зелени, апельсина, лимона и крови, Филиппов пошел вниз, вышел к трамвайной остановке, свернул в тихую уличку строгих дворцов и подстриженных парков и вскоре подошел к тихому кафэ.

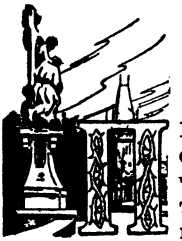
Среди немногочисленных посетителей тотчас же поднялась фигура знакомого.

— Здравствуйте! Я вас уже жду.

— Здравствуйте! Я, кажется, не опоздал.

— Нет, только я хотел вам предложить переменить место. Здесь отвратительное пиво. Если ничего не имеете против, пойдем к Томашу. Там теперь тоже мало народа и можно будет спокойно поговорить.

— Идем.



ГЛАВА II

ПРОЙДЯ два квартала, они вошли под сводчатый кров Томаша, этой пивной, четвертое столетие славящейся густым темным пивом того характерного красно-бурого цвета, который у пражских знатоков известен под именем «гранат».

За кружкой пива сухо и деловито обсуждались условия поставки дутых кирпичей и песка для бетона, досок и стропил и всего того строительного материала, который нужен для загородной виллы.

— Стало быть, господин Филиппов, мы обо всем договорились. Пожалуйте завтра ко мне в контору, подпишем договор и начнем работу. Вы будете мной довольны.

Филиппов с удовольствием тянул пиво. И самый вкус пива, и сознание, что обеспечен солидный заработок, и мягкий голос собеседника и аляповатые фрески на стене, изображающие какого-то рыжего молодца в остроконечных туфлях и красном колпаке, держащего обеими руками кружку с переливающейся через край пеной — все было приятно.

Он обменивался отдельными фразами, не следя за их связью между собой, слушал столь частые в Праге за пивом воспоминания о России, и шипящие, скрипучие звуки чешской речи смягчались и мягким светом из тусклого окна и густым, крепким пивом. Кружка сменилась другой, потом появилась третья. Филиппов выбирал у подошедшего к столу продавца сардинки и моченый перец, брал ловко нарезанную спиралькой редьку и не хотел обидеть этого милого чеха, угощавшего его от чистого сердца, ибо он тоже заключил выгодную сделку.

В старинных железных шандалах, где когда-то горело масло, вспыхнули электрические лампочки, столы занимались новыми посетителями, а Филиппов все еще сидел с собеседником, пил пиво и говорил на ту тысячу тем, на которые так легко говорится с малознакомым человеком в приятном настроении.

За другим концом стола расположились двое, тоже расположились давно, еще до прихода Филиппова. Один помоложе, лет сорока, а другой уже с сединой и с круглой, не тщательно подстриженной бородкой, делающей для русского на чужбине каждое лицо близким, чуть-ли не родным.

Те двое пили. Пили, как любят пить чехи — методично, без закуски, по пять-шесть долгих глотков, и много курили. Младший курил сигареты, а старший длинную, узкую виржинку, этот излюбленный чехами сорт крепких сигар. Говорили они сначала тихо, потом все громче и Филиппов уловил несколько фраз: «Когда мастер кончает работу, он день или два на нее смотрит... Гипс тоже надо подчистить... профессор Мажатка любит мускулистое тело... два часа простоять, а можно и полчаса не выдержать...»

— Что это, штукатуры, фасадники, что висят на рейках перед домами?

Когда у старика погасла сигара и он не смог сразу найти в кармане спичек, Филиппов протянул ему свою коробочку. Старик взял, раскурил сигару и вернул с благодарностью:

— Благодарю вас... Вы очень любезны... Гм... Да, пьется сегодня хорошо, а? Пиво сегодня действительно на славу! — отчетливо произнес он хрипловатым голосом, уже обволокшимся действием кружки не первого десятка.

— Да, сегодня идет, — ответил Филиппов. — Я не знаток пива, но сегодня и у меня аппетит разыгрался.

Старик уловил иностранный акцент и спросил:

— Вы серб или русский?

— Русский. Почему вы спросили?

— Я же слышу. Я привык.

— Что, в той фирме, где вы работаете, много русских?

— В фирме? Хе... Я не работаю в фирме.

Старик потянул свою сигару раз, другой, пустил тонкой струйкой дым и, глядя искоса, веско бросил:

— Я — модель.

— Вы позируете?

— Ну да! Раз я модель... Спросите у студентов академии, спросите у всех молодых скульпторов — кто не знает Скривана?

Спутник Филиппова живо спросил:

— Вы Скриван? Это вы позировали Швабинскому?

— И Швабинскому и кому угодно! Я стою по всей Праге, а мои руки, вот эти руки (он протянул их на стол), на них глядит вся республика и заграница... Видели старую стокроновку? Вот эти руки держат гроздь винограда!

Старик отложил свою сигару, длительно отпил из кружки и медленно, словно цедя слова, продолжал, глядя на стол:

— Я стою в храме Марии Снежной, в Тынском храме, в Высоком Мыте в монастыре... видели в Вышеграде апостола, в правом притворе? Ангела, поднявшего руки?.. Это у Марии Снежной... Все я.

— А ведь это трудная работа, — вставил слово спутник Филиппова, — стоять час и два, пока с тебя рисуют.

— Да, надо уметь держать позицию. Первые годы все тело болело, а потом привык.

Старый натурщик допил кружку и, заметно пьянея, продолжал:

— Это как где. Когда стоишь в школе, пусть это будет академия или любая другая, везде ученики работают только, если рядом профессор. Ушел профессор — и все они рады ничего не делать. Каждый отлынивает по-своему, а модели это на-руку. Скажешь: «я устал» — так они сейчас же пустят отдохнуть. А вот если профессор пишет, а еще хуже — лепит, тогда беда. Я больше у скульпторов стою и всего насмотрелся. Бывало, и руки и ноги онемеют, а он забыл о тебе и отделывает каждый мускул... А то не понравится, все долой и сначала начинает. И подумать — не все ли мне равно, что он делает? Если смял, выкинул и начал сначала, так еще лучше — дольше стоять буду, больше заработаю. Я ведь по десять и двенадцать крон в час стою. Не то, что модель с улицы, по шесть и по пять крон. Меня знают, меня зовут! Я видел всякое, уж сразу знаю, что художник хочет. А иной такого хочет, что и за двадцать крон нельзя: на одной ноге стоять или, например, нагнувшись.

Тут и пяти минут не выстоишь, надо отдохнуть. Фу, чорт, какая жажда! Когда же это еще пива принесут?

Охмелевший старик оглянулся, сделал неопределенный жест рукой и замолчал, уткнувшись взглядом куда-то вниз. В это время лакей принес кружки со свежим пивом, натурщик очнулся, залпом выпил почти полкружки и продолжал свою, где-то затерявшуюся мысль:

— Он сомнет глину, всю работу выкинет, а мне обидно... Будто я даром стоял. Потому что мне тоже... Да... я тоже хочу видеть, что он создал... я тоже не хочу впустую стоять. Вот держал я виноград... вот этими руками... А теперь как кто вынул стокроновую бумажку, так и видит мои руки, руки Скривана. Вот...

Он поднял голову, посмотрел поверх собеседников и умолк.

— А не приходилось вам наскочить на какого-нибудь негодяя, садиста, на извращения? Ведь среди художников это, того... бывает, — спросил спутник Филиппова.

— А мне-то что? Я стою, а если нужен кому акт с девкой, так я нет... Я — Скриван! Пусть ищет с улицы. Я... А раз попал и я. Чорт! Художник Крафт... Иезус Мария! Вот был мастер! Кончал академию, тут началась война, его забрали, а после войны вернулся он и давай писать свою дипломную работу. Позвал он меня, говорит это: «буду писать Ряспятие, будете Христом». Ну, ладно. Какая же позиция? — «На кресте!» Мне даже холодно стало... Я верный католик, я не какой-нибудь прощалыга, я и тогда не терпел, чтобы мне каждый приказывал любую глупость. Ну, стоял я апостолом, верно... стоял ангелом, ладно, но чтоб Христом на кресте... Как же это, спрашиваю. «А так, говорит, что привяжу я вас и буду рисовать». Ну, сговорились мы, положил он мне двадцать крон в час и по пятнадцать минут. Попробовали, перешли на десять, а потом отдых десять минут. Стал он рисовать. Трудно было, да уж больно горячо взялся он, прямо жадно писал, у самого глаза горят и все спешит. Раз прошло моих десять минут, я прошусь вниз, а он пишет и бурчит про себя: «подождите».

— Да у меня руки болят, — говорю. — Веревка въелась.

— Терпите, — говорит, — Христос больше терпел.

Я стою на тумбочке под крестом, а руки привязаны вверху, затекли, веревка режет — сил нет.

— Я, — говорит, — вдвойне сегодня плачу, терпите!

Наверно, еще минут пять продержал, душой моей клянусь — чуть кричать я не начал. Дня через три перешел он на ноги. Сделал на кресте подпорочку для пальцев, тело привязал ремнем, чтоб не упал я, упрешься и стоишь. Чорт, тяжело было! Смотрю я на его работу — тело все напряженное, мускулы повытянуты — уродство, а не Распятие. И голова только намечена. Я раз и спрашиваю: «Когда же голову?»

— Завтра, — отвечает, — завтра плачу вдвойне: будут и руки привязаны.

— Это же зачем?

— Так мне надо.

— Ну, чорт, — думаю, — как бы опять не продержал... А он поставил меня на подножку, привязал руки и начал писать голову. А? Понимаете? Ни черта вы не понимаете... А я понял! И мороз по спине пошел. И сейчас мороз по спине идет, как вспомню. А ведь это было лет восемь назад.

Старый натурщик словно отрезвел от воспоминаний. Он отхлебнул из кружки, снова раскурил погасшую виржинку, пустил дым и вдруг, строго глядя в глаза Филиппову, спросил:

— Зачем он меня привязал? Чтобы голову рисовать? Не мог посадить на стул? Не мог! Потому что ждал, когда больно станет. Вот что! И дождался — я прошу отвязать, мол, десять минут прошло, а он кричит: «Стойте! Вдвойне плачу!» Я чуть не кричу, а он пишет, глаза горят. Беда, думаю, сошел с ума, да так и оставит меня на кресте! Я говорю ему: «Отвяжите, господин Крафт, дайте отдохнуть, да скажите, чего вы хотите, я помогу вам». — «Страдания хочу! Не лимонада, не Иисусика, а страдания смертного! Висите! Я бы вас гвоздями прибил, не то что веревкой привязать». Тут меня такой страх взял, что я биться начал, вырывать руки. Крафт рассмеялся, подошел, отвязал, смотрит в упор и шепчет про себя: «Вот так, так!..» Рисовал он меня еще три дня и каждый раз прихожу я и боюсь, что останусь висеть на кресте. И первые пять минут он не пишет, все только смотрит, а как жилы надуются, так и начинает. Каждый раз держит дольше и дольше и последнюю минуту пишет,

как дьявол. Ну, кончил, пятьдесят крон лишних дал, а картина-то не конченная. У него раньше композиция была, рядом Мария Магдалина стоит на коленях, смотрит на Распятого и тоже лица нет, так, еле намечено. И у Христа лицо чуть намечено. «Что ж это, — спрашиваю, — лицо от другого возьмете?» «А вот приходите, увидете. Мне не надо модели. Я видел их...» Не понял я тогда, но через недельку был я рядом с его ателье, захожу. Он ведет меня — полотно закрыто. «Ну, Скриван, посмотрите на себя», — сказал Крафт и сдернул занавеску. Иезус Мария! Я чуть из кожи не выскочил!

Старик вскочил и, протягивая через стол руки, прокричал:

— Там висел сумасшедший и кричал!

Сидевшие за столиками обернулись на крик, но, видя, что все сидят и слушают, спокойно отвернулись, а натурщик как-то сразу обмяк и совсем пьяным голосом договаривал:

— Я убежал и больше там не был. Слышал, что Крафт получил медаль и куда-то уехал, а кто-то говорил, что он в Праге. Я не видел, я не знаю. Уже, наверно, поздно? Пора итти.

Со смешанным чувством смущения и неловкости поднялся и Филиппов, простился и вышел на залитую луной узкую уличку. Резкая тень от соседнего дома острым углом чернела на белой стене и перекресток каких-то столбов на крыше, может быть телеграфных подпорок, проектировался на стене распятием.

ГЛАВА III

КОРОТКИЕ дни завертелись в мышиной суете — и ничего важного, а каждый день приносил новые хлопоты и заботы. То сделал чертежник ошибку в плане, то заболел нужный чиновник в магистрате, и его помощнику все дело с разрешением надо объяснять с азов, то телефонируют, что для бетона песок не тот привезли и рабочие стоят без дела. Так в мелкой сутолоке проходили дни, а вечерами приходилось делать подсчеты, писать письма и требования. Очень редко Филиппов уходил из дому, в кино или к знакомым. Его старые друзья, товарищи по политехникуму, при встрече пеняли, что он никогда не заходит, порой даже удивленно спрашивали: «Вы в Праге? А я думал, что вы где-нибудь в провинции... так давно вас не видел».

Иногда вспоминались Андриевские и тогда на душе становилось еще холоднее. Ни Коля, милый Коля, товарищ по батарее и сосед по школьной скамье в политехникуме, ни Анна Петровна, насмешница с лучистыми серыми глазами... Нет, против воли, помимо желания щемило сердце, когда вспоминалась хрупкая Ирочка, ее худенькое лицо с озерами темно-голубых глаз, ее тонкие руки, так мягко ласкавшие клавиши рояля...

Два года почти каждую неделю они ходили на концерты, знали все лучшие места левой половины Сметанова зала (левой — чтобы видеть руки пианиста), Люцерны, зала биржи и всех тех мест, где бывали концерты, русские спектакли, лекции русских профессоров... Два года разговоров, порой таких тонких, таких беспредметных, что и разговорами их не назвать. Так, больше намеки... И родилась душевная близость, теплое чувст-

во. Оно заполняло и вытесняло всех других женщин, порою возникавших на пути Филиппова. Он никак не мог решиться — все казалось, что эта девочка в 19 лет не отдаст своей свободы, не откажется от своих слов «за радость слушать Шопена я отдам и дружбу и любовь». — А разве вы знаете, что такое любовь? — спросил тогда Филиппов. «Если не знаю, так тем лучше! И не надо ее!» — по обыкновению горячо ответила Ира. — Как вы будете потом над собой смеяться! — заметил Филиппов. «Андрей Павлович, это вам не дает права смеяться надо мной уже теперь! Прекратите этот разговор, если не хотите, чтобы я ушла...» Так два года капризная девочка тревожила сердце Филиппова, пока как-то раз за ужином у Андриевских Филиппов не выпил лишнюю рюмку и, немного охмелев, не сказал Ирине: «Вы бродите, как квас. Верно, и квасу надо перебродить, но всему же есть свой срок». — «Как вы смеете! Я не хочу с вами разговаривать!..»

Несмотря на все уговоры Николая и Анны Петровны, Филиппов встал, откланялся и с тех пор заходил к Андриевским очень редко. Хотя Филиппов и не признавался, никто из знакомых дам и барышень не проник в его сердце так глубоко, как эта капризная и балованная девочка, которую в консерватории называли «Шопен в юбке».

После ссоры прошло два года. За все это время Филиппов встретил Иру только три раза, два раза на концертах и раз у Андриевских, они не обменялись и десятью словами, но именно в минуты одиночества вспоминалось тонкое личико в рамке русых локонов и чуть надтреснутый голос. И тогда на душе становилось еще более пусто.

Мелкие заботы оседали в душе тяжелой мутью, не хотелось уходить из дому, больше всего влекли мягкие туфли и книжка. Впрочем, порой Филиппов доставал свой альбом с марками и до глубокой ночи сидел за столом. Это была его тайная страсть. С чувством какой-то стыдливости он ее почти скрывал и только если встречал филателиста, радостно и оживленно говорил о марках. Впрочем, и коллекция была у него своеобразная — он собирал только военные марки, только со следами недавней войны, специальные выпуски, оккупации, плебесциты.

Раз, при посещении своего поставщика строительных материалов, Филиппов встретил маленького невзрачного человечка. Тот при рассчете вынул бумажник и оттуда выпали марки. Завязался разговор.

— Да, я тоже собираю.

— Европу или весь мир?

— Нет, только военные марки.

— Гм, это интересно. У меня есть дубликаты венгерской оккупации. Может быть, поменяемся?

— Хорошо. Приходите как-нибудь вечером, — согласился Филиппов.

Так начались посещения Филиппова Крафтом, владельцем магазина лака и красок. Маленький, с каким-то телесным изъяном, несший одно плечо выше другого, Крафт тщательно подбирал все оттенки и варианты марок. И возмущался, когда Филиппов говорил, что ему важнее перепечатка, чем сама марка, а сдвинута она или даже перевернута, это безразлично.

— Вы, господин инженер, не филателист. Это — профанация! Вот я вам принес 35 филлеров с двойной перепечаткой Фиуме, а вам все равно! Вот эта в одну лиру на 25 чентезиме с «регенца итальяна дель карнаро», это очень редкая марка, потому что она без второго оттиска, а вам это тоже все равно! Приходите ко мне, я вам покажу мои альбомы, вы увидите, как надо собирать!

Крафт даже разволновался, Филиппов из учтивости согласился и тотчас же было сговорено, что в воскресенье вечером он посетит Крафта.

— У Хотковых садов, это одна из первых улиц Смихова. Вы сразу найдете, нас там знают, и меня и брата.

ГЛАВА IV

КОГДА Филиппов вышел из трамвая и пошел по тротуару, он невольно поднял воротник и поежился — порывы первого, по-осеннему холодного, ветра забирались в рукава, тонкой струйкой ползли за воротничек и холодили все тело.

В подъезде серого невзрачного дома висела табличка с указанием, что Рудольф Крафт, оптовая и розничная торговля красками и лаком, живет во втором этаже. Филиппов поднялся, позвонил и очень быстро ему открыл дверь сам Крафт.

— Прошу, входите! Рад вас видеть! Снимайте пальто, его можно повесить вот здесь... Пожалуйста, идем! — суетился маленький Крафт, каждым движением выражая готовность сделать все приятное своему гостю.

Они прошли из коридора в следующую комнату. Большой письменный стол был почти пуст, на нем лежали два больших альбома. На углу, возле отодвинутой чернильницы, лежала стопка проспектов, над столом висели разноцветные таблицы с четырехугольниками всех оттенков.

— Прошу вас, садитесь! Вот в это кресло. Я уже ждал вас и приготовил альбомы. Это Чехословакия, Австрия и Венгрия, тут будет много военных марок, вот увидите. Есть хорошие экземпляры.

Не успел Крафт раскрыть альбом, как в дверь постучали и вошла полная дама.

— Моя жена! — представил Крафт. — Дай нам сюда чаю и чего-нибудь...

Жена Крафта поздоровалась, коротко ответила: «да, сейчас» и вышла, а через минуту внесла поднос с чаш-

ками чаю, корзиночкой домашнего печенья и сладких булочек.

— Прошу вас. Выпьем чаю и за дело.

Тщательно подобранные марки австрийской полевой почты, отдельные конверты этой почты совсем без марок, чехословацкие марки плебесцита Восточной Силезии с надпечаткой SO увлекли Филиппова и он не заметил, как прошло два часа. Взглянув на часы, он удивился:

— Уже восемь! Как летит время.

— А куда вам спешить? Я еще хочу вам показать венгерские марки с перепечатками Дебречина.

В это время открылась дверь и вошел рослый худой мужчина в очень хорошо сшитом темном костюме.

— Пожалуйста, познакомтесь — мой брат Карл, художник.

— Вы тоже больны этой болезнью? — кивнул Филиппов на альбомы с марками.

— О, нет, — рассмеялся художник.

И его смех, нервный и надтреснутый, и вся внешность — красивая голова, большие темно-синие глаза, тонкие усики и седые нити на темных, почти черных волосах, все это вызвало у Филиппова чувство симпатии и он так же весело ответил:

— А мы болеем, хотя и без страдания.

— Что ж, у каждого барона своя фантазия. Я знал одного господина, очень серьезного человека, знатока итальянского Ренессанса, который ночи напролет сидел над марками. Ну, простите, я не буду мешать!

— Нет, отчего же! Наше занятие можно прекратить. Я уже немного устал.

— Позвольте, — запротестовал Крафт. — Я еще не показал Боснии и Югославии.

— Это можно посмотреть в следующий раз, если вы позволите.

— Да, я прошу вас... Только еще ведь не поздно.

Филиппову стало почему-то жаль, что уйдет художник, и он, словно цепляясь за каждую возможность его задержать, спросил:

— Вы давно в Праге?

— Да, почти со дня рождения... Хотя я только на прошлой неделе приехал.

Художник полез в карман пиджака, пошарил и сказал:

— Я забыл свои сигары. Я сейчас приду.

— Ты много куришь, — упрекнул его брат.

— Ладно, ладно, не сердись! — с улыбкой ответил художник и вышел из комнаты.

— Ваш брат сказал, что он недавно приехал. Где он был? — спросил Филиппов.

— В Далмации. Он там проводит полгода и больше. Он болен... он был тяжело ранен в голову на итальянском фронте. С тех пор он ездит на места былых сражений, в Карпаты и в Италию, в свое Изонцо. Там у него тоже ателье.

Скрипнула дверь и с сигарой во рту вошел художник. Филиппов тотчас же обратился к нему:

— Я слышал, что во время войны вы были в Карпатах. Где именно?

— Странно... Отчего вы спросили? Я сегодня думал о Карпатах, хотя уже два года там не был... Да, я был в Черных Горах, около Керешмезо, это нынешняя Ясина.

— Вот интересно! И я там был.

— Как? Где именно?

— Под Говерлой, у истоков Прута.

— И я тоже! Позвольте, брат говорил, что вы русский офицер, значит, вы были в русской армии?

— Да, в русской.

— Мой наблюдательный пункт был как раз на Говерле. Подождите, я вам покажу.

Художник быстро вышел и вернулся с картой.

— Это двухкилометровка австрийского генерального штаба. Вот здесь я просидел почти полгода.

Художник указал на карту, исчерченную красным и синим карандашем. Филиппов впился глазами и в его памяти с необычайной ясностью всплыли и вершина Спици-Специ, и станция Вороненка и грязное местечко Тартарув. Такая-же карта когда-то была и в его планшетке, только на ней все было подчеркнуто с иной стороны. Он смотрел тогда с той, а вот здесь все исчерчено с этой стороны...

— Что, вспоминаете? — спросил художник, наблюдавший за Филипповым.

— Да... это замечательно! Я просидел месяцев шесть вот здесь. — Филиппов указал ногтем мизинца на густое сплетение горизонталей. — Вот на этом хребте.

— Чорт возьми! Когда-же это было?

— Зимой 1916-1917 года. До июня 1917 года.

— И я тогда был! Это любопытно! Постойте, вы помните — в апреле... да, 22-го апреля...

— Это когда ваша пехота пыталась перейти Прут?

— Ну, да! И когда ваша артиллерия отбила все атаки.

— Я тогда вел огонь двух батарей... это было ночью!

— В 11 часов... ночь была темная.

— Только вначале, потом ракеты освещали как днем.

— Но ваши батареи стреляли, как с цепи сорвавшись!

— Потому что вы сразу перенесли огонь на тылы и попали по штабам!

— Неужели попали? Мы ведь стреляли по карте, наощупь.

— Хорошо наощупь, если ко мне на пункт прибежал адъютант штаба дивизии и кричал не своим голосом: Остановите продвижение русских! Начальник дивизии приказал!

— Да, ведь, мы не двинулись!

— Но огонь-то вы перенесли! И дело было ночью! И когда вы отбили нашу пехоту, она побежала!

Прошлое вставало во всей неотразимости. Филиппов чувствовал, как кровь прилила к голове. Он встал и взволнованно обратился к художнику:

— Это замечательно! Мы сидели друг против друга, мы стреляли один в другого. И вот мы сидим рядом и мы — даже не враги!

— Неужели вы до сих пор не убедились, что по истечении какого-то срока военные враги перестают быть врагами? Особенно, если им пришлось пережить... настоящее, смертное страдание, а ведь просидеть под ураганным огнем — это не забывается и через десять лет, если вообще это можно забыть! Но вот что — позвольте вас просить в любой день пожаловать ко мне. У меня в ателье мы посидим и побеседуем. Уже без марок... если позволите! — без улыбки добавил художник.

— Благодарю, с удовольствием. Это такой редкий случай, такое совпадение!

— Я нашел под Изонцо одного итальянца, лейтенанта, который, как и я, ездит каждый год на места

боев и снова переживает прошлое. Это вроде наркотика. А вы еще не были в Карпатах?

— Нет.

— Отчего?

— Как-то не сообразил. Мне казалось, что прошлое не повторяется. Но это замечательно!

— Ну, вот, приходите, подумаем да и махнем туда вместе. Только надо подождать весны, летом это удобнее. Смотрите, мой брат уже ревнует!

Филиппов взглянул на Крафта старшего и увидел несколько обиженную физиономию. Складывая альбомы, Крафт сдержанно и холодно-любезно возразил:

— Ты говоришь глупости. Я просто вижу, что марки уже не интересны, вот и все.

— Простите, господин Крафт, я несколько увлекся, но ведь вы понимаете, что это так необычайно! Мы еще посмотрим марки, мне очень интересно.

— Как угодно.

— Я очень хочу, я еще приду к вам. Ведь марки не убегут!

— Как и ваши Карпаты! — не выдержал Крафт. — Надо быть сумасшедшим, чтобы ехать за тысячу километров смотреть те горы, на которых вы убивали людей!

— Брат, ты в этом ничего не понимаешь. Я ведь не говорю о твоих марках — грязные кусочки бумаги, давно отслужившие свою службу и теперь никому не нужные. Если тебе нравится — любуйся ими, а нам не мешай любоваться другим. И не тем, как мы убивали людей, это была печальная необходимость, ибо выпущенная граната должна разорваться, а освежить свои переживания и подумать над этим.

— Ты от своих переживаний вот уже двенадцать лет не можешь вылечиться и я убежден, что в этом ты сам виноват. Занялся бы спокойным делом и забыл бы все то, что было когда-то.

— Но если этого нельзя забыть! И не надо! Если это дает импульс моему творчеству! Ах, что с тобой об этом говорить... Мы никогда с тобой не сойдемся.

Филиппов хотел вставить примиряющее слово и не мог. Все его симпатии были на стороне художника, на стороне бывшего офицера австрийской армии, своего бывшего врага.

— Господин Крафт, но ведь это правда, — нельзя забыть того, что было на фронте. Этим мы все отравлены надолго!

— Так от отравы надо лечиться, а не отравляться больше и больше! Это все равно, что ковырять больной зуб.

— Если он вас мучит и нет лекарства, иногда и поковырять помогает.

Крафт недовольно пожал плечами, художник насмешливо поглядывал и молчал с видом превосходства взрослого над ребенком. Видя, что между братьями пробежала кошка, Филиппов, словно извиняясь, произнес:

— Уже поздно. Я еще приду и мы поговорим. Господин Крафт, не сердитесь, что наша филателистическая встреча закончилась так неожиданно.

— Это всегда фронтовики... Что там говорить! Вот лучше принесите марки да поменяемся.

— Обязательно! Я вам позвоню. А сейчас позвольте откланяться. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! Только мой брат сегодня уже не будет спать — опять будет сидеть до утра, а потом — головная боль, электризация... Эта программа уже известна.

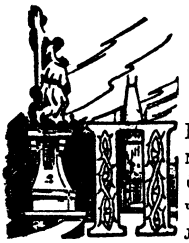
— Простите, я, право, не хотел...

— Бросьте, — прервал художник, — тут не только никто не виноват, а слава Богу, что так вышло. Я рад, я страшно рад и я жду вас, господин Филиппов. Когда захотите — позвоните, я буду рад вас видеть в любой момент.

Художник протянул руку и крепко пожал.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!



ГЛАВА V

ВРИДЯ домой, в тот вечер Филиппов не мог заснуть. Неожиданная встреча с бывшим противником напомнила ярчайшие страницы прошлого. Напомнила юность и первые столкновения с суровой жизнью, неожиданно и ярко напомнила боевую страду, упоение победой и смертный страх всего организма при сверлящем вое подлетающей гранаты, когда казалось, что она летит прямо в лоб. Напомнила острую боль рвущей мясо раны и блаженный покой после операции в госпитале.

Снова и снова, как страшный сон, выплывали картины прошлого. Яркий зеленый луг, залитый солнцем. На нем десятки извивающихся тел, кричащих и воющих, с простоеленными животами, с перебитыми руками и ногами... Опушка леса с белой палаткой на склоне отлогого карпатского гребня и ползущие окровавленные люди, со страхом приближающиеся к палатке, откуда несется стон, и плач и крик... На лужайке, где-то под Белгородом, тоже белые палатки с красными крестами, а вокруг недвижные или еще стонущие тела санитаров, сестер милосердия и врачей и вновь израненных раненых, порубленных и простреленных налетевшей вражеской конницей... Сожженная деревня и у развалин черная от сажи и горя старуха... За что, во имя чего были эти муки? Все, что было потом, только подчеркнуло бессмысленность жертв и страданий.

Филиппов жил двойной жизнью. Он наблюдал за постройкой, добросовестно проверял работы, но его мысль неуклонно возвращалась к тому прошлому, которое разбудил Крафт. Филиппов посетил несколько своих друзей, былых сослуживцев, теперь молодых ин-

женеров или юристов, работавших шоферами или служивших чиновниками в чешских учреждениях. Его рассказ всюду вызвал большой интерес, каждому вспомнились близкие сердцу страницы прошлого, вольно или невольно заглушенные и недавней студенческой жизнью в Праге, и нынешней службой и вообще эмигрантским неопределенным существованием. Николай тоже заинтересовался Крафтом, но как раз тогда он был завален работой и откровенно попросил зайти в другой раз и рассказать подробнее.

— Пойми — послезавтра надо сдавать проэкт, а я еще на кальку не перевел! Заходи дня через три, потолкуем. Это очень интересно.

Если бы у Филиппова кто-нибудь спросил, почему он не идет к Крафту, почему он медлит, Филиппов мог бы искренно ответить, что он вполне поглощен своими переживаниями. Но вряд-ли он мог бы признаться даже очень близкому человеку, что его томит предчувствие, что он ждет чего-то. Временами, однако, ему просто не хотелось итти к этому австрийскому офицеру, и не видавшему всего того, что пережил русский офицер.

Но дня через четыре, возвращаясь после обеда домой, Филиппов решительно зашел в уличную телефонную будку и позвонил Крафту. Художник был дома и ответил, что все время ждал звонка.

— Когда-же вы можете прийти?

— Хоть сегодня.

— Прекрасно, жду вас. Часов в 7, хорошо? Я буду вас ждать в ателье, там нам никто не помешает.

В семь часов Филиппов позвонил у Крафтов, ему открыл сам художник и тотчас же провел в ателье.

— Раздевайтесь, тут тепло.

Филиппов с интересом оглядывал мастерскую художника, большую комнату, всю увешанную картинами или расписанную фресками. Одну из стен от потолка до пола занимала большая картина, закрытая занавеской. Другую стену покрывали этюды на далматинские мотивы и внимание Филиппова привлекли руки. Почти на каждой картине самым типичным, самым характерным было положение рук, то поднятых с мольбой, то напряженных в экстазе, то безвольно висящих как плети, обескровленных, бессильных.

— Как живописен у вас язык рук! Какая-то мистерия рук... — вырвалось у Филиппова.

— Вы никогда не видели, как несчастные поднимают руки? — спросил художник.

— Нет.

— Это картина незабываемая. Впрочем, есть много незабываемых картин... Пожалуйста, садитесь! — пригласил Крафт и показал рукой на кресла, стоявшие у столика, покрытого белой скатерью и уставленного закусками и бутылками. — Посидим и побеседуем.

Филиппов обернулся и снова столкнулся с закрытым полотном. И стало ему неприятно. И будто неловко, что перед ним что-то прячут, и просто любопытно — а что там? Может быть, голая женщина? Или опять какая-нибудь монашенка с поднятыми руками?

— Что вы все оглядываетесь? Вам мешает это полотно? — вдруг спросил Крафт.

Филиппов весь сжался, точно его поймали и уличили в чем-то неблаговидном.

— Нет, нет... впрочем, правда, я хотел спросить: что там?

— Там картина, которая мешает всем. Пожалуй, я ее вам покажу, потому что она имеет непосредственное отношение к тому, о чем мы будем говорить. Только немного позже. Давайте выпьем по рюмке коньяку.

Крафт налил две рюмки, чокнулся и, указывая на бутерброды и печенье, сказал:

— Я угощать не буду. Ведь это, кажется, у вас говорят: «Все на столе, руки у себя».

— Да, хлеб на столе, руки свои.

— Так вот, распоряжайтесь сами. Видите, я пригласил вас, я хотел вас видеть потому, что вы, я в этом убежден, не просто случайный участник прошлой войны, а человек задетый ею, человек до сих пор хранящий те переживания, которые нельзя и сравнивать с нашей будничной жизнью. Ведь те переживания открыли глубины, вернее, пропасти человеческой натуры. А что для нас — для не скотов — может быть важнее, как понять смысл страданий, проникнуть в тайну зла, а, стало быть, и добра. Ведь именно на фронте до предела обнажалась человеческая натура, там почти в чистом виде можно было видеть и предельное героическое самопожертвование и самый гнусный животный эгоизм.

— Вы правы. В одном из первых боев я был очень горд, когда совсем без страха, под сильным огнем, вы-

лез починить перебитый телефонный провод, чтобы не гнать уже слегка раненного телефониста. А вечером, в тот-же самый день, я сидел с моим сослуживцем и приятелем в окопчике. Вдруг начался обстрел. Когда подлетела граната, мы прижались друг к другу как дети, в момент разрыва мой друг вскрикнул и я поймал себя на гнусной радостной мысли: Ага, не я! Правда, через минуту я отдал ему мой перевязочный пакет, своим платком вытирал его кровь, помогал его унести из окопа, но первая-то мысль осталась несмываемым пятном.

—Вот, вот! Это и есть фронтовое очищение человеческой натуры. Очищение от всей шелухи, от культуры, от воспитания, образования, традиций. Остается голый человек и вот его-то наблюдать очень интересно и поучительно. Прошу вас, берите бутерброды и давайте еще выпьем. Вот так!

Филиппов опять взглянул на закрытую занавеской картину, художник поймал его взгляд.

— Хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет. Я покажу вам, только не ручаюсь, что это успокоит вас.

Он подошел к стене, взял длинную палку с крючком на конце и отдернул висевшую на кольцах занавеску. Филиппов еле сдержал крик — перед ним было Распятие, только Распятый, обезумев от боли, кричал, кричал, кричал! Боже, ведь тот натурщик... ну, да, Крафт, этот самый...

Филиппов обернулся к художнику и, всеми силами сдерживая свое волнение, медленно произнес:

— Это замечательно... такое совпадение!

— Что? Совпадение? С чем?

— Я недавно слышал рассказ вашего натурщика, как вы его мучили, привязывая к кресту.

— А, это старый Скриван! Он еще жив, не спился?

Филиппов не отвечал. Он смотрел на Распятого, на его напряженные мускулы, на горящие пламенем безмерного страдания глаза, на иступленно кричащий рот. Засохшие струйки крови на ногах и руках, воспаленные раны и кричащий, кричащий рот... Этот крик, этот исступленный вой несся с полотна и заполнял все ателье.

— Да... жестокая картина!

— Жестокая? — спросил Крафт. — Верная. Так кричат страдающие люди. Се — человек! Ведь Он страдал

как человек. Я видел страдания людей с оторванными руками и ногами, я слышал их звериный вой, крик от боли, от боли, когда нет сил сдержаться, когда кричат полным горлом!

Филиппов отвернулся от картины и все равно видел судорожно раскрытый рот и горящие глаза. Художник поднялся.

— Я закрою картину. Я показал ее вам, чтобы нам было лучше разговаривать, но я знаю, что ее лучше закрыть. Я ее два раза продавал и мне возвращали, не требуя денег. И ни одна выставка ее не принимает!

Он подошел к полотну, задернул занавеску и на ходу продолжал:

— Я понимаю, что нашим, убаюканным своим благосостоянием мещанам она мешает, но ведь есть же люди, которые видели глубины человеческого страдания! Разве не надо твердить день и ночь, что это было, твердить для того, чтобы больше не было! Я сейчас пишу, второй год пишу раненого с оторванной ногой, лежащего на лугу полном цветов. У меня много картин батальных, но ни в одной нет и не будет ничего, зовущего к сражениям. Потому, что я — пацифист!

— Пацифист... сколько яду в этом слове! — вырвалось у Филиппова.

— Меньше, чем в войне. — Крафт встал сделал несколько шагов и остановился у стены. — Когда мне говорят, что на войне проявляется величие духа, благородство и доблесть, я всегда поражаюсь. Почему величие духа должно проявляться только на войне? А в мирной обстановке? Разве благородство ярче выражается в разрушении, чем в созидании? Разве нет подлинного величия духа в презрении к житейским невзгодам, всегда мешающим творить великое дело? Почему воинская доблесть выше гражданской? Разве учитель, живущий в нищете и отдающий все силы детям, не проявляет благородства духа? — Ведь может же он торговать тетрадями с учениками, или просто брать взятки с родителей, но не берет! Не берет и живет как нищий, давая детям знания... Ах, разве мало примеров! Посмотрите вокруг себя — теперь каждый не подлец должен с утра до вечера проявлять доблесть и благородство!

Крафт подошел к столику, налил две рюмки коньяку и чокнулся.

— Выпьем! Я вам поясню, расскажу. В одно прекрасное или, лучше, далеко не прекрасное утро итальянская граната разбила крепления окопа, меня придавило бревнами, а вместе со мной еще трех. Я был легко ранен в голову, двое было убито, а у моего соседа была совсем перебита нога и поперек живота лежало бревно, так что он не мог рукой достать до ноги. Мы так пролежали до ночи, потому что обстрел продолжался весь день и откопать нас было некому. И весь день Янек кричал...

Крафт сел в кресло. Левый глаз начал дергаться и на лбу налился кровью узкий шрам.

— Мой брат, который заботится обо мне истинно по братски, не хочет понять, что для того, кто заглянул в эту бездну, для того слишком мелки будничные заботы и огорчения. Я, конечно, понимаю, что жизнь — не только боль и крик, как я понимаю, что художник может писать натюр-морты и пейзажи. Я, может быть, даже признаю их хорошими, но сам так писать уже не могу.

Филиппов молча сидел и в его голове сверкающей лавиной, путаясь и смешиваясь, мелькали картины далекого прошлого, обрывки мыслей и слышанных фраз. И как непрерывно звучащая нота — сознание, что там, за занавеской, кричащий Христос.

— Я не знаю, что мне вам ответить, — начал Филиппов, но Крафт его прервал.

— Можете ничего не отвечать. Отвечать вообще не надо. Надо говорить.

— Да, я неправильно выразился. Мне сейчас трудно говорить. Все то, что вы сказали — бесспорно, но ведь эти мысли надо привести в порядок, в систему, надо подвести какое-то основание. Нельзя просто сказать: не хочу воевать! Нужна какая-то организация общества, социальная формулировка.

— Вот это-то и беда! — вырвалось у Крафта. — Потому что человек — скотина! Если даже все согласны, предположим, что красть нельзя, то все равно кто-нибудь начнет красть и без насилия не обойтись!

— Что-ж, может быть, вы считаете подходящим средством коммунизм? — тихо спросил Филиппов.

— О, нет! Силой загонять в рай... Нет средства, нет способа заставить человека понять, что для его же блага ему надо подчиняться без насилия. В этом весь

ужас, от этого можно с ума сойти! И знаете — человека убедить можно, но людей, толпу или, как это теперь модно, коллектив, это совершенно безнадежно! И вот остается только в одиночку творить, создавать произведения и их показывать... тоже в одиночку! Потому что мирно жующие свою жвачку мещане больше всего боятся, что мои картины помешают их пищеварению! Эти болваны не желают и подумать, что через десять или двадцать лет они опять будут орать от боли, истекать кровью, но лишь бы сегодня им никто не мешал жрать и спать! — выкрикнул художник.

У Крафта еще больше налился кровью шрам на лбу, волосы растрепались. Он встал, молча прошелся по комнате, подошел к столику, налил рюмки, молча чокнулся и молча выпил. Потом, тем-же повышенным тоном, сказал Филиппову:

— Отчего вы ничего не едите? Ведь вы, русские, не можете пить без закуски! Это правильно, так и надо, а если я не ем, так это привычка. Прошу вас, возьмите бутерброд, возьмите ветчины или сардинку!

Филиппов тоже встал, потом повернулся к столику, взял бутерброд с ветчиной и, держа его в руке, спросил у Крафта:

— А вы не думаете, что ваши картины для многих непонятны? То есть, в них прежде всего видят страдания, кровь, это неприятно, и за этим первым впечатлением уже не доходит самый смысл — неизбежность этих страданий при новой войне. Так сказать, за деревьями не видят леса.

— Не могу же я издавать хрестоматии для малограмотных! Имеющий уши да слышит! Нет, это ерунда, это не то. Мое «Распятие» как-то купил один разбогатевший фабрикант, хотел себя показать ценителем и знатоком искусства. А через две недели привез обратно — вот в этой раме — и сказал, что его жена спать не может, гости перестали ходить.. А, черт их всех подери! Надо, чтобы нас было больше, чтобы все художники и писатели дружно показали человечеству, к чему оно идет. Вы, русский, это знаете лучше меня. У вас есть теперь два писателя, Шмелев и Лукаш. Я прочел, увы в переводе, их «Дом усопших» и «Солнце мертвых» — вот что надо писать! Правда, у них слишком по славянски, больше психологический рисунок, надо реальнее, по животному, тогда скорее

поймут. Знаете, мне трудно говорить о моем «Распятии», я сросся с ним, но думаю, что оно может нравиться или не нравиться, но забыть его трудно. И этим я горжусь.

— А вам не кажется, что оно многим покажется кощунственным?

— Почему? Только ханжа может считать, что Иисус на кресте не был человеком, а, значит, Ему было свойственно все человеческое. Значит, Он страдал от боли, как и всякий человек. Это не унижение Его божественного достоинства, не поругание. Мне кажется, что поруганием, оскорбительным унижением будет считать, что Христос висел на кресте как-то... слегка, вроде как от нечего делать. Да ведь Христос пошел на крестные муки ради искупления, а это даром не дается! Он вытерпел смертные муки, му-ки! Боже, опять начинает болеть голова... Знаете, я должен извиниться... Мы в следующий раз поговорим, я вам напишу или заеду к вам, а сегодня... Я боюсь, что мне придется лечь. Это моя старая болезнь.

Филиппов встал, искренно пожелал поскорее встретиться и с большим участием пожал руку художнику.

— Мне очень жаль, что ваша головная боль нам помешала сегодня поговорить. Вы-то успели мне много сказать, а я остаюсь в долгу. У меня тоже есть что сказать.

— Верю, и вы должны сказать! О! Простите, моя голова, моя голова...

Побледнев, художник сжал обеими руками голову и опустился в кресло, но тотчас же встал. Филиппов оделся, в сопровождении художника дошел до передней, пожал Крафту руку и вышел на лестницу.

ГЛАВА VI

И на следующий день, ни через день Филиппов не мог избавиться от неуклонно стоящего перед глазами Распятого. С чувством глубокого участия и невольного, совершенно неожиданного уважения Филиппов вспомнил художника Крафта. Поток впечатлений был так стремителен, полон таких неожиданностей, что Филиппов совершенно не удивился, когда через два дня к нему явился Крафт старший.

— Я к вам по делу.

— Как здоровье брата?

— Я вот по этому делу и пришел. Мой брат отвезен в больницу. В Богницы.

— В Богницы? — переспросил Филиппов. — Что случилось?

— У него снова начались припадки... это уже бывало... Да, и брат в те светлые промежутки, когда он все сознавал, просил сказать вам, что он с вами еще встретится и просил передать вам на память одну картину. Эта картина у меня, когда вы ко мне зайдете, вы ее получите.

— Что это за картина? — быстро спросил Филиппов.

— Какой-то раненый лежит под кустом. Небольшая, метра на полтора... Я надеюсь, что вы еще зайдете поговорить о марках. Это успокаивает, это не война, не раненые... От этого с ума не сходят... — тихо добавил Крафт.

Филиппов почувствовал намек по своему адресу и живо ответил:

— Мне очень неприятно, что мое посещение было причиной нервного припадка вашего брата. Мы так мирно и интересно беседовали, он мне показал свою картину «Распятие»...

— Показал «Распятие»? О, тогда все понятно... Пока эта проклятая картина висит у него в ателье, у нас не будет покоя. Брат уже несколько раз был в психиатрической больнице и каждый раз после воспоминаний о своем ранении. Он почти никогда не открывает свое «Распятие», чтобы самому посмотреть, но если показывает его, чтобы говорить о страдании, это почти всегда кончается плохо. Я сожгу его! — вдруг крикнул Крафт.

— О, нет, нет, что вы! — вырвалось у Филиппова.

— Будь она проклята! Когда ее у нас не было, какое это было счастливое время, но она возвращается, ее никто не хочет... Ах, если бы вы знали, каким мой брат бывает веселым, когда около него нет этой проклятой картины! Он шутит, смеется, его рисунки дышат весельем, радостью и желанием жить. Приходите, я вам покажу! Ведь вы еще придете? Я вот вам принес конверт с дебречинскими марками, это пустяк, но на конверте они довольно редки. Возьмите, пусть это будет на память.

Филиппов растерялся. Эта горячая тирада, с проклятиями и надеждой, так неожиданно закончилась филателистическим подарком, впрочем, тоже таким же нервным и внезапным.

— Благодарю вас... да, конечно... Я приду... я верю, что ваш брат поправится... мне так неприятно... я чувствую себя как-то связанным с заболеванием...

— Да что вы! Вы ведь случайный... это у брата бывает, только сейчас это сильнее. Он говорил, что так хочет с вами поговорить, что он давно ждал такого случая. Увы, теперь не скоро ...

— А может быть и скоро? — робко возразил Филиппов и сам загорелся этой надеждой. Ведь, может быть, что припадок скоро закончится, ваш брат уедет и все пройдет.

— Ах, если бы так было! Но вы заходите к нам, я буду вас ожидать. Картина упакована и ждет вас.

— Да, обязательно. Я позвоню вам.

После ухода Крафта Филиппов долго сидел без движения. Мысли его скачками перебегали от кричащего рта к лесистым склонам Карпат, возвращались в ателье к поднятым рукам измученных женщин, переходили на конверт с марками, чуть скользили по кра-

сивой голове художника и его синим глазам, возвращались к Карпатам и перепрыгивали на маленького суетливого Крафта.

«Да, я пойду к нему. Надо взять картину. Почему-то же Крафт подарил ее мне! И теперь я связан с ним...» — подумал Филиппов и словно подвел итог.

В холодный зимний вечер Филиппов пришел к Крафту. Тот встретил радостно.

— Вы меня так обрадовали вашим звонком. Я уже давно жду вас! Прошу вас, раздевайтесь и пойдем.

Крафт суетливо усаживал гостя, тотчас же вынул альбомы с марками, показал тщательный подбор марок Югославии.

— Посмотрите, вот в этом издании для Словении у меня хорошо подобраны оттенки пятивинаровой марки — и серо-оливковая и изумрудно-зеленая... А вот эта в десять крон, обратите внимание: это на картоне! Но это еще что... одну минутку, я перелистну несколько страниц... вот порто. Это книгопечать, а вот эти бирюзово-голубые, это не пражские подделки, а настоящие.

Временами Филиппов увлекался, рассматривал марки и в его голове не было ни одной посторонней мысли, словно эти оттенки — оливковая, серо-зеленая, горховая, желто-зеленая — вытеснили из головы все мысли. Но потом в какой-то извилине мозга, как далекое дрожание струны, появлялась неясная мысль, может быть, еще даже не мысль, а только намек — где-же картина? Какая она? И тут уже между марками все настойчивее и настойчивее появлялись синие глаза художника, его смуглое лицо.

Наконец, Филиппов не выдержал:

— Простите, я все хотел спросить: где картина?

Крафт остановился на полуслове. Как-то весь подобравшись, он с горечью очень учтиво сказал:

— Она вас ждет. Она упакована и вас ждет. Она в передней, уже давно... Пожалуйста, кушайте булочки! Вам еще чаю?

Когда чай был принесен и Крафт опять остался с глазу на глаз с Филипповым, хозяин несколько раз указал на некоторые особенности коллекции, а потом откинулся на спинку кресла и тихо произнес:

— Не будем играть в прятки! Я вижу, что сегодня вы не увлечены марками. А жаль! Я много лет лечусь марками. Вы не понимаете? Да выгоняю свои думы!

Ведь я, господин Филиппов, люблю своего брата больше всего на свете! И вот уже больше десяти лет он болен. Этот призрак сумасшествия... Ах, что говорить! Я радуюсь каждому его успеху, но и боюсь его, потому что за успехами идет обмен мыслями, это вызывает воспоминания, брат сядет на своего конька, день, два и целую неделю будет только об этом думать и опять в его голове что-то сдвинется... Слава Богу, мне вчера из больницы сообщили, что ему значительно лучше. Я уже написал в Изонцо, там приготовят к приезду и я его туда отвезу. А тем временем постараюсь куда-нибудь запрятать его «Распятие»...

Последние слова Крафт произнес почти шопотом.

— Вы меня поймете, господин Филиппов. Я хочу спрятать все, что может раздражать брата. Конечно, он сейчас же спросит, где картина, но я ему отвечу, что ее хотят купить и увезли... Нет, это не годится... Должны сюда приехать смотреть! Придется прибегнуть к испытанному способу — к ремонту ателье. Буду белить и красить! И спрячу все картины! Вы понимаете, что когда у нас не висит «Распятие», так брат здоров и весел!

Чуть щурясь, Крафт пытливо смотрел в лицо собеседника и Филиппов почувствовал, что ему становится холодно.

— Да, замечательно... Конечно, надо спрятать картину. Вашему брату надо поправиться...

От этой невольно высказанной мысли о связи картины со здоровьем художника, Филиппову опять стало холодно и, как он ни старался, это ощущение не проходило. Тогда Филиппов поднялся, пожелал скорейшего выздоровления брату и попрощался. В передней Крафт передал длинную, тщательно скатанную трубку.

— Вот эта картина. Пусть это воспоминание о моем брате будет вам и предостережением. Вы еще молоды, господин Филиппов. Жизнь переделывать надо исподволь, а не бросаться головой вниз...

Крафт крепко пожал руку Филиппова и закрыл дверь.

На трамвайной остановке Филиппову все казалось, что трамвай никогда не придет. Когда он уже сел в вагон, казалось, что трамвай еле ползет... Это нетерпение достигло своего предела в комнате, где Филиппов сорвал с себя пальто и шляпу, кое как повесил на ве-

шалку и ножом разрезал все веревки, опутавшие сверток с картиной. Быстрым движением он освободил ее от бумаги и развернул.

На траве, перед жиденьким кустиком, лежит раненый. Рубашка разорвана до пояса, на плече кровоточащая рана, кровью залит весь бок, кровь на траве. Бледное лицо, впившиеся в складку штанов пальцы, судорожно закушенные губы и горящие глаза...

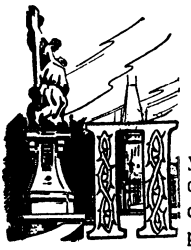
Филиппов расправил картину на диване и отошел к стене. Теперь выступили детали: австрийский серо-зеленый цвет штанов и рядом валяющегося мундира, слипшиеся на лбу каштановые волосы, капельки крови, покропившие бледно мерцающие на фоне мятой травы нежно-сиреневые крокусы, и невинный прозрачно-голубой цвет безмятежного неба...

Закурив, Филиппов сел на стул. Чем-то он был разочарован, хотя сам не мог бы объяснить чем. Не тот раненый? Слишком лихорадочно он ждал этой картины, картины Крафта, мастера «Распятия»... Он прошелся по комнате, снял и повесил в шкаф пиджак, откинул одеяло, зажег настольную лампочку, стал готовиться ко сну и вдруг остановился от внезапно пришедшей мысли: а какую же раму? Да, да, надо раму. Черную, не очень широкую. И повесить надо над диваном. Это займет много места, почти все пространство над диваном, придется снять и перевесить фотографии...

Лежа в постели, Филиппов глядел на раненого, вспоминал как он сам лежал с пулей в ноге. Нет, он не лежал, он полз и полз под жестоким огнем. Полз не по траве, а по пыльной дороге, потому что вокруг было сжатое поле.

Привычным движением Филиппов погасил свет и лег на бок, но заснуть не мог. Разбуженные картиной воспоминания гнали сон. В воспоминания вплетались отрывочные мысли о Крафте, потом вспомнилось, как он, сам раненый, встретился с матерью. Это в последний раз он видел родной дом... Широкий двор, поросший травой, не такой как эта... без крови... Как у этого раненого слиплись волосы... Вот на пологом склоне у серого деревянного забора, какие бывают в Карпатах, стоит девушка в вышитой сорочке и красно-коричневой юбке с узором. Она что-то поет, но никак не расслышать...

Впрочем, это уже сон.



ГЛАВА VII

ОЛУЧИВ картину, Филиппов словно успокоился. На следующий же день он заказал раму, прикинул где повесить. Вечером зашел к Андриевским и рассказал о подарке.

— А сам то художник безнадежен? — спросила Анна Петровна.

— Да... то-есть, я не знаю еще наверно. Мне Крафт... он сам еще не знает. Я думаю, это пройдет.

— Вот вы какие! Говорите о страданиях людей, хотите избавить их от ужасов грядущей войны, а ничего не знаете о близком человеке.

Филиппов начал оправдываться, горячо и обиженно, словно он был виноват.

— Как я могу вам сказать что-нибудь точное о состоянии Крафта, если даже его брат, который во всем этом страдает больше всех, и тот ничего не знает! Ведь это не ангина и не дифтерит! При психических заболеваниях...

— Да, все это так. И все таки вы больше заинтересованы, нет, вам ближе сама идея, чем живой человек. Причем и самая идея сумбурна! Ну, что мы можем с вами сделать, чтобы в будущем не было войны?

— Я да вы, Анна Петровна, — ничего, но если нас будет много, если таких взглядов будет придерживаться большинство, то вряд-ли удастся большинству навязать свою волю. Даже не так: вряд-ли большинство можно будет увлечь мыслью о новой войне.

— Знаешь, дружище, — заметил Николай, — все это мечтания. Как посмотришь с холодным вниманием вокруг, как почитаешь исторические книги — всегда и везде

люди воевали и всегда воинские подвиги привлекали к себе больше всего.

— Но это не значит, что так должно быть! Привлекали и богатыри, но их уже нет!

— На их месте полководцы, авиаторы. Да и просто физическая сила влечет к себе. Посмотрел бы ты на толпу, ревущую от восторга на боксе!

— Неужели ты, Коля, и бокс считаешь достижением культуры?

— Конечно, нет. Это варварство, но толпу-то к нему влечет! Теперь прибавь сюда хлесткий политический лозунг, этакое освобождение от тирании своих страждущих братьев, и дело готово! Толпа, то есть большинство, будет реветь от восторга и попрет. Всегда найдутся смельчаки, которые своим примером увлекут, свалка будет на славу и только грядущие историки спокойно и бесстрастно объяснят, что все дело было в торговых рынках или амбициях немногочисленной политической группы...

— Если так смотреть на вещи — грустно жить!

— Или хочется вернуться к богатырям!

— Почему к богатырям?

— Да потому, что они были более гуманны, чем современные вожди! Ведь это чудо как хорошо: выходят двое, полосуют друг друга и кто победит, того сторона и выиграла. Но раненый-то или убитый ведь один! А тысячи живы и здоровы, тогда как теперь вожди остаются живы и здоровы, а миллионы людей лежат на носилках или в могилах.

— Знаешь, Коля, тогда лучше начать пить горькую! Плюнуть на всех и все, забраться в конуру и пить без просыпу.

Чуть скрипнула дверь и в комнату вошла Ирина. В гладком сером платье она выглядела совсем девочкой.

— Я не помешаю?

Филиппов встал, поклонился. Анна Петровна быстро взглянула на сестру, не то насмешливо, не то удивленно. Филиппов поймал этот взгляд.

— Здравствуйте!

Ирина протянула ему руку и еще раз спросила:

— Я не помешаю?

— Что за вопрос! Мы тут решаем мировые проблемы о мире всего мира... Андрей Павлович рассказывает ин-

тересные вещи. О сумасшедшем художнике. Помнишь, я тебе говорила?

— Дело ведь не в художнике, Анна Петровна!

— А по моему — в нем! Вы забываете о живом человеке ради абстрактной идеи, а ведь вся-то идея ради живого человека! И вместо того, чтобы запить горькую, как вы предлагаете, не проще-ли помочь живому человеку?

— Да и зачем же пить горькую, — возразил Николай, — но уехать на лоно природы и пожить спокойно, без мировых проблем, занимаясь только своим делом, это не вредно, ей Богу!

— Перейти на растительную жизнь... — усмехнулся Филиппов.

— Не бросайся в крайности. Твой Крафт, повидимому, очень милый человек, но он бросился в крайность и вот результат. Ни другим пользы, ни себе.

— Я думаю, что в его мозгах непорядок от ранения.

— Ну, вот видишь! Ты сам говоришь — в мозгах непорядок, а зовешь итти за ним.

— Вовсе нет! Ты не передергивай! Ведь основная-то мысль верна: мы, сами пережившие страдания от войны, мы больше других имеем основания предостерегать от войны. Многим издали война кажется привлекательной, издали видны только результаты, только... как бы это сказать... только массовые картины, а детали, то есть, оторванные руки и ноги, простреленные животы, вытекшие глаза — этого всего не видно, как не слышно за победным криком и стонов раненых. Я не увлекаюсь, я очень трезво смотрю на вещи и, правду сказать, мало верю, к моему стыду, в успех пропаганды мира... Человек — жестокий зверь! Но нельзя же сидеть, сложа руки! А потому те, кто могут, да делают!

— Знаешь, это вроде пропаганды вегетарианства. Правда, очень полезно для организма. Правда, не будем убивать курочек и телят. Но я все таки с большим аппетитом съем бифштекс, потому что таковым я создан — человек не жвачное животное!

— Я с тобой и не спорю. Я не говорю о коровах и курах, потому что смешно в наше время быть вегетарианцем. Но мне грустно и больно, что люди не видят, упорно не хотят видеть, что войной спор решается не на долго, а страдания воевавших остаются на всю жизнь. Ведь создали же Красный Крест и уважают его! Теперь надо основать какой-нибудь Зеленый или Золотой Крест

для охраны уже не больных и раненых, а просто мирных людей, не воюющих. Вроде, как Рерих предлагает создать международное общество для охраны памятников культуры. А то ведь дело идет к тому, что отважные юноши-спортсмены начнут упражняться в стрельбе по музеям и храмам только потому, что цель более заметная. Или из особо дальнобойных пушек будут бить по мирным городам, потому что легче попасть в город, чем в полевой окопчик.

— Дорогой мой, ты прав, но не только ты прав. Вспомни, как наши любимые богатыри подъехали к Правде с семи сторон и каждому Правда показалась иной. Конечно, грядущая война — ужас, и мы, участники прошлой войны, это знаем на собственном опыте. Но не сходи с ума преждевременно, не сходи с ума от сознания своего бессилия одному убедить весь мир. Это дело медленное, на десятки лет, и нельзя же бросаться на стену из-за того, что... что люди умирают от старости! Лучше спокойно и тихо работать над способами омоложения или как это там называется. Но мы с тобой этого делать не умеем, не обучены, но можем построить не плохой домишко, в котором люди будут жить в тепле и уюте. Спасибо и за это... если, конечно, тебе дадут работу и ты не пойдешь чертежником, как Савостьянов. Слышал? Просидел полгода без работы, у него жена, ребенок, и пошел чертежником за шестьсот крон. Берет ночную работу, еще прирабатывает и... существует. Так то.

— Как вы далеко ушли от Крафта, — с укором сказала все время молчавшая Ирина. — Ты, Николай, все время нападаешь на Андрея Павловича, словно сам хочешь спрятаться. И прячешься, потому что ты сам говорил: война ужасна. Значит, об этом можно и нужно говорить и нечего бояться. Вы же не боялись итти под пули? Неужели страшнее отговаривать итти под пули, чем самим снова итти под пули?

Эта реплика Ирины вызвала благодарный взгляд Филиппова и недоуменную улыбку Анны Петровны.

— Ну, господа, этот спор все равно сейчас не решить, а мне надо спешить. Как нибудь мы еще поговорим.

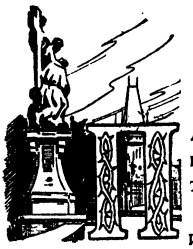
Когда Филиппов ушел, в его душе остался неприятный осадок. С одной стороны, все его существо горячо и искренно было на стороне Крафта, пробудившего еще несколько неясное стремление самого Филиппова, его глубокое убеждение, что война—ужасна и бессмысленна,

что страдания миллионов людей бросаются впустую, что мир — слишком малая цена для жертв войны, ибо мир всегда несправедлив для миллионов людей. Ведь ценность — живой человек, а не абстрактная идея. Поэтому надо бороться против войны. Но, с другой стороны, Филиппов не мог самому себе не признаться, что в нынешних условиях вся идея пацифизма, действительно, какая-то худосочная, но, главным образом, потому, что человек — сволочь! Он продажен, малодушен и жесток. Только неумолимая сила сурового закона заставляет его — не уважая! — признавать права другого на кусок хлеба и на место под солнцем.

Наконец, Филиппов безжалостно спрашивал себя: А если бы сейчас встал вопрос вооруженной борьбы за родину, разве он не пошел бы? И разве он посмел бы отговаривать других итти на страдания ради этого высшего идеала? Но если за себя решить просто — мол, я сам за себя отвечаю, то отвечать за всех других... за всех тех гимназистов и кадет, валявшихся по полям Кубани и Дона... Разве можно забыть горящий взгляд мальчика, лежащего на соломе с оторванной ногой и запекшимися губами спрашивающего: мы победили?

Нет, прав Крафт, надо писать, говорить, кричать: долой войну! Но как же подчиниться насилию? Насилию и жестокости других? Неужели безропотно? И призывать безропотно страдать от насилия более решительных и грубых? Голова раскалывалась..

Филиппов шел по улицам, переходил перекрестки, даже ответил на поклон встретившегося знакомого, но все это проходило стороной, словно он только скользил по улицам и площадям. Вот Карлова площадь. Чуть притрушенные снегом лужайки и скамейки по дорожкам, высокая четырехугольная башня с часами. Это на здании суда и тюрьмы. А другой угол площади охватывали здания больниц...



ГЛАВА VIII

АНИ Сейдлова, я уеду на две или три недели. Если принесут раму для картины, вот деньги, этого хватит.

Филиппов передал хозяйке деньги и продолжал:

— Я не знаю точно, сколько я пробуду в отсутствии.

— Господин инженер едет отдохнуть или по делам?

— По делам. Может быть, я получу хорошее место, лучше того, которое у меня сейчас.

— Вот это хорошо! Я вам желаю успеха, господин инженер! Будьте покойны, все будет в порядке. А куда вам пересылать почту?

— Я еду в Турнов. Пока посылайте Турнов — до востребования, а потом я пришлю адрес.

Филиппов попрощался с хозяйкой, взял чемодан и вышел из квартиры.

*

«Дорогой Коля! Я обещал написать тебе через день после приезда, но уж так бывает, что разные мелочи заполняют день и вот прошла неделя, а я все еще не послал тебе обещанного письма. Самое главное — я до сих пор не могу сказать ничего определенного. Думаю, что смогу тут пристроить тебя на работу, но ведь и мое-то положение — временное, я сам еще не вполне хорошо знаю обстановку. Фирма меня утвердила экспертом и наблюдающим за постройкой рабочего поселка, фабричная администрация завода относится ко мне хорошо, но не знаю даже как долго мне здесь придется пробыть. Я думаю, что смогу взять тебя помощником инженера, но еще не было случая спросить.

Вчера моя хозяйка написала, что принесли картину и что она уже висит над диваном. Все время об этом думаю и вспоминаю Крафта. Знаешь, интересно получается — наш прошлый враг возбуждает в нас общие с ним мысли, и ни он, ни мы не становимся изменниками своей родины. Конечно, я не говорю сейчас о нас лично, вернее о нашей нынешней родине, это как то выходит из рамок основной мысли. Неужели, все таки, осуществимо всемирное содружество людей, без различия рас и наций? Ну, хорошо, пусть мы с тобой до этого дойдем, а как же наши рязанские и тульские с их насмешливым чувством превосходства над каждым иным — татарином, поляком, немцем, на худой конец, над тамбовцем или полтавцем? И верится и хочется и... ни черта из этого не выйдет! Меня просто убило как-то тобой высказанное замечание насчет вегетарианства — верно, и полезно и благородно, а все таки я не жвачное животное!

Буду очень рад, если мне удастся тебя вытащить в Турнов. Я вчера ездил на автомобиле к директору фабрики. Он живет в имении, километрах в двадцати. Проезжал я Праховские скалы и невольно вспомнил тебя и твое лыжное увлечение. Сейчас скалы присыпаны снегом и на снежном фоне их очертания кажутся совсем фантастическими... Ну, ладно, расписался я что то. Не подумай, что от безделья. Передо мной лежат отчеты, сметы. Кланяйся Анне Петровне и Ирочке. Как только вырвусь — приеду прямо к тебе».

Филиппов отложил перо, промокнул листок, вложил его в конверт, заклеил и положил на чернильницу. Закурил и после некоторого колебания придвинул к себе папку с бумагами.

В неожиданно ответственной работе Филиппов весь подтянулся. Он понимал, что если бы не инженер Мелоун, вряд ли он получил бы столь ответственное и почетное поручение, как контроль постройки. Конечно, Мелоун знал Филиппова лет десять, а последних пять лет встречался с ним в одних и тех же фирмах, где делал заказы. Правда, если бы не капиталы отца, Мелоун не получил бы места помощника директора такой крупной строительной фирмы, все это так, но Мелоун остался тем же хорошим школьным товарищем и даже без зависти поздравил Филиппова, когда он получил конкурсную премию за проект загородных домиков.

Лежа вечером в постели, Филиппов не раз задавал себе вопрос: не этот ли проект натолкнул Мелоуна предложить ему ехать сюда? Поэтому Филиппов без особого удивления получил утром от Мелоуна письмо с предложением возможно скорее приехать в Прагу и лично сделать доклад о состоянии построек.

Работая с утра до вечера, просиживая до полуночи за разбором чертежей и смет, Филиппов сознательно торопился. Его тянуло в Прагу, тянуло посмотреть на «Раненого», хотелось узнать о Крафте. Вспомнилась Ирина. Последний раз в ней не было колючего холодка...

Когда Филиппов уже сидел в вагоне, он под стук колес неуклонно возвращался разбегающимися мыслями к «Раненому», к Крафту. Взглянув в окно на пробегавший пейзаж и заметив в дали черневшую опушку леса, Филиппов вспомнил четкие силуэты карпатских лесов и черные дыры воронок на белом снегу. Где-то на станции в купе вошла новая пассажирка и, когда она клала свой рюкзак на верхнюю полку, ее поднятые руки вызвали в памяти женские руки с картин Крафта.

ГЛАВА IX

АК? Ты? Открывший Филиппову двери радостно удивился.

— Да, Николай, я. И с хорошими вестями. Собирайся, друже, едем.

— Куда?

— Со мной в Турнов. Погоди, я разденусь и все толком расскажу.

— Давай, я повешу. Идем в столовую. Аня, Аня! Иди сюда!

Пока Филиппов снял пальто и пригладил перед зеркалом волосы, в переднюю вошла Анна Петровна.

— Смотри, Аня, кто приехал! Приготовь нам чайку. Он с хорошими вестями!

— Здравствуйте, Анна Петровна, — прервал своего друга Филиппов и, целуя руку, добавил: — Рад вас видеть.

— Ну, идем, идем! Расскажи же в чем дело, — подталкивал Николай.

Сидя за столом, Филиппов с подъемом и оживлением говорил о совершенно неожиданном результате своего посещения фирмы.

— Я прошел сразу к Мелоуну. Он меня принял по товарищески. Я предложил тотчас же сделать подробный доклад, но Мелоун сказал, что уже одиннадцать часов, скоро обед, а разговор будет длинный. Пока что, предложил с ним пообедать. Вот выдержка — за обедом он говорил о чем угодно, но о деле, о том, что он уже надумал, ни слова! Ну, вернулись мы в его кабинет, я с чертежами и выкладками нарисовал ему картину всей работы. Знаешь, я вчера, как приехал вечером домой... Да, у меня уже висит «Раненый»!

— Ты писал.

— Да. Хорошая картина. Эффектная и с большим настроением. Да, так я вчера просидел до двух часов, отделывая свой доклад. Хотел не ударить лицом в грязь. Мелоун сказал, что он вполне доволен, что просит меня завтра повторить этот доклад генеральному директору и что предлагает мне взять помощника, так как рядом будут строить такие же домики и что общий надзор он оставляет за мной, так как эти домики будут строиться по моему проекту, за что я получу особое вознаграждение. Понимаешь, а? И этого помощника он поручает выбрать мне. Я сразу же назвал тебя. Он тебя помнит по политехникуму и тотчас же согласился. Я должен с тобой приехать к нему завтра, он оформит назначение. Ведь ты свободен? Можешь ехать?

— Конечно, могу! Я ведь на сдельщине, работы не много, так что если я уеду, так моим сослуживцам больше перепадет, они только рады будут. Ну, спасибо, дружище, давай лапу! Постой, который час? Аня, я пойду и куплю винца, это дело надо спрыснуть!

— Не спеши, время еще есть. Завтра вечером пожалуйте ко мне посмотреть «Раненого».

— Вы все еще под впечатлением этой картины? — спросила Анна Петровна.

— Да, все еще и надолго. Хорошая картина.

— А где сам художник?

— Завтра поеду и узнаю.

— Господа, вы поговорите, а я все таки принесу чего-нибудь.

Николай встал. Филиппов его задержал за руку.

— Если ты так спешишь спрыснуть — чему я отнюдь не противлюсь! — позвольте предложить отправиться куда-нибудь... скажем, в Люцерну, в бар. Или, если хотите поскромнее, в Куманово.

— Идет! Едем, Аня?

— Отчего нет? Только не в Куманово — хочется музыки.

— И потанцевать! Правда? — спросил Филиппов. — А где же Ирина Петровна? Она, верно, тоже не откажется.

— Она еще не пришла, но уже должна быть дома. Моя сестрица ведь человек аккуратный.

— Тогда сделаем так: я поеду домой, переоденусь и через час или, лучше, полтора заеду за вами, а вы уже тут приготовьтесь. И попросите Ирину Петровну тоже

принять участие в нашем предприятии. Значит — через час, самое позднее через полтора.

*

В просторном зале у стен стояли разделенные перегородками столики. Было, шумно и душно. На низкой эстраде несколько человек музыкантов производило такой шум, грохот и завывания, что только искушенные в модной музыке могли не поражаться. В такт музыке посреди зала двигались пары. Когда, вдруг, музыка становилась мелодичной, все с подсознательным наслаждением переходили к плавным движениям, а потом, вместе с мяуканием и воем саксофона, снова начинали конвульсивно подергиваться и с ожесточением выделывать несложные па блюса или шимми.

— Вам доставляют удовольствие эти танцы? — спросил Филиппов.

— Конечно, Андрей Павлович! — чуть прищурясь ответила Ирина. — Если бы не доставляли, я бы не танцевала.

Филиппов легко держал Ирину и ловко вел ее среди толкущихся пар. Он с удовольствием танцевал. Может быть, не танцевал, а держал своей правой рукой гибкую талию Ирины, смотрел так близко на ее разгоряченное личико и пушистые волосы над розовым ухом.

— Я давно вас, Ира, не видел.

— Вас не было в Праге.

Музыка резко оборвалась, раздались дружные хлопки и все заспешили к столикам выпить чего-нибудь прохладительного. Ирина и Филиппов подошли к столику, где сидел Николай с Анной Петровной.

— Почему вы не танцуете? — спросил Филиппов.

— Мы танцевали, только вы были так увлечены, что ничего не видели, — насмешливо глядя на Филиппова, ответила Анна Петровна. — Но это вам идет, Андрей Павлович!

— Что идет?

— Вот быть таким увлеченным, танцевать... Вы сегодня очень интересны, позвольте признаться. И этот черный костюм вам идет. И я хочу с вами чокнуться! Вообще я хочу веселиться! Николай, налей!

— Несмотря на столь яростное нападение, я согласен. Веселиться и веселиться! Наливай, брат, наливай, будем пить и веселиться! За веселье, господа!

Зазвенели бокалы. Легкое пузырчатое вино веселило глаз и сердце, публики все прибавлялось, шум усиливался, но чем громче он становился, тем меньше на него обращали внимания. Когда снова раздались звуки музыки, Филиппов пригласил Анну Петровну. Проходя мимо столика, где сидела Ирина с Николаем, Филиппов несколько раз взглянул на Ирину, словно его притягивала эта стройная фигурка в бледно-зеленом платье. Анна Петровна поймала этот взгляд.

— Вы, кажется, помирились с Ириной. Это хорошо.

— Конечно, хорошо. Зачем ссориться?

— Вы сегодня так рассудительны... Вообще, с вами что-то произошло.

— Право, ничего. Я просто в хорошем настроении.

— И оставайтесь в нем.

В это время Филиппов заметил, что к Ирине подошел какой-то молодой человек и она пошла с ним танцевать. Филиппов увеличил шаги, пошел наперерез и очутился близко от Ирины. Нет, ее партнера он не знал...

— Анна Петровна, вы не знаете, с кем танцует Ирина?

— Где?

— Да вот, за вами!

Филиппов повернулся, повел даму за собой и Анна Петровна ответила:

— Нет, не знаю. Вероятно, просто пригласил кто-нибудь из танцующих. Ведь это принято. А вы что так пристально на них смотрите?

Филиппов отвел взгляд, сбился с такта, извинился, толкнул соседнюю пару, снова извинился и густо покраснел.

— Как вы, блондины, быстро краснеете! Не сердитесь, я говорю то, что вижу. И очень этому рада! Да, потому что могу вам по секрету сообщить, что Ирина тосковала без вас и была очень обрадована, когда я ей сегодня сказала, что вы приехали и предлагаете ехать танцевать. Даже советывалась со мной, что надеть.

Филиппову стало невмоготу жарко, он поднес к губам ручку Анны Петровны и молча поцеловал.

— Какой сегодня удачный вечер! Сейчас за ваше здоровье мы выпьем другого вина. Вы, помнится, любили грав.

— Да, этот сорт я любила и люблю. И выпью за все хорошее с удовольствием.

Едва Филиппов подошел к столику и усадил Анну Петровну, он пошел к стойке и заказал лакею бутылку грав.

— Кроме того, принесите горького шоколаду. И сыру, швейцарского, эментальского, две порции. Да, с хлебом.

Когда лакей принес заказанное, у всех невольно вырвалось — Это что? — Это вино, одобренное Анной Петровной, горький шоколад, повидимому еще одобряемый Ириной, и сыр — так как я голоден. Не смейтесь, я неудовлетворен тем ужином, который мы тут съели. Я сегодня обедал больше разговором... Если, господа, кто-нибудь тоже хочет закусить, это можно организовать. Ты, Коля?

— Нет, спасибо. Пожалуй, кусочек сыру.

— Ну, вот. А теперь мы выпьем за удачный вечер... вообще за удачу! Я хочу, — продолжал Филиппов, разливая вино по бокалам, — чтобы всем нам сопутствовала удача. И тебе, Николай, когда мы завтра поедем к Мелоуну.

— Почему же это вы желаете только Николаю? — протянула Анна Петровна, глядя из-за бокала, поднесенного к самым глазам. — А я с Ириной не удостоюсь пожелания?

— Вы обе сверх программы. И сегодня и всегда я вам желаю самой полной удачи, значит — значит, успеха, веселья, словом...

— Да не словом, а точнее.

— Простите, точнее не могу! Успеха и успехов! Вам, Анна Петровна, я желаю быть довольной сегодняшним вечером, а вам, Ирочка, я желаю... тоже быть довольной сегодняшним вечером.

Сестры переглянулись и это не ускользнуло от Филиппова.

— Вот этого самого я и желаю!

— Чего же это? — спросил Николай.

— Вот этого самого! Много будешь знать, скоро состаришься. А теперь, подкрепившись, с новыми силами бросаемся в бурное море танго. Ира, можно вас просить?

Через два тура Ирина увидела, что их столик пуст и сказала, что устала. Филиппов подвел ее, придвинул стул и сел рядом.

— Можно вам чего-нибудь предложить?

— Нет, спасибо.

— А я выпью.

Едва его рука протянулась к бутылке с вином, Ирина бросила:

— Не надо! Не пейте много.

Филиппов задержал руку, медленно отвел ее и, глядя в глаза Ирине, значительно произнес:

— Я с удовольствием исполню ваше желание. Мне так приятно исполнить ваше желание.

— Да? Смотрите, Аня все время танцует только с Колей... Жаль, что с нами нет больше никого. Вы видели в углу компанию? Там очень интересный господин, брюнет в смокинге. Веселая компания...

Филиппов наклонился к Ирине, поднял ее руку и поцеловал.

— Не сердитесь! И сейчас и за прошлое. А теперь я исполню и это ваше желание. Посмотрим, что за брюнет в смокинге.

Он обернулся, пробежал взглядом по столикам до угла и вдруг вскочил.

— Что вы? — испуганно вырвалось у Ирины.

— Это Крафт!

— Что такое?

— Ну, Крафт, этот сумасшедший художник! Он здесь, значит, он здоров. Боже, как же это...

Подошедшие Николай и Анна Петровна были встречены одним словом — Крафт!

— Что?

— Здесь Крафт! Вон он, в углу, в смокинге.

— Пойдем по залу, я хочу на него посмотреть поближе.

Филиппов предложил руку Ирине и вчетвером они пошли среди публики. В углу зала сидело за столиком веселое общество — трое мужчин в смокингах и три дамы в ярких бальных платьях. На столике стояли бутылки, между тарелками лежало несколько веток бледной оранжерейной сирени. Крайним сидел Крафт и весело что-то рассказывал, отчего его собеседники громко смеялись. Крафт был виден только в профиль, тонкий с горбинкой нос и лоснящийся пробор делали его похожим на рисунок из английского журнала.

— Я ничего не понимаю, — проговорил Филиппов, — но это он. Это поразительно!

В это время Крафт что-то сказал, компания дружно рассмеялась, Крафт обернулся и увидел Филиппова. Он быстро встал и пошел навстречу. Филиппов выпустил руку Ирины и протянул ему свою.

— Коллега, вот встреча! Ведь вас же не было в Праге, вы куда-то уехали.

— Я вернулся... Я очень рад, что вы... что вы здесь.

— Да, все прошло, я здоров и завтра утром уезжаю в Изонцо. Приезжайте ко мне, там уже зацветает миндаль. Но вы со знакомыми...

Филиппов обернулся и увидел Ирину, стоявшую рядом с Анной Петровной и Николаем.

— Да... позвольте вас познакомить — это мои друзья.

Крафт представился, пожал руки.

— Позвольте просить вас выпить с нами бокал вина? — предложил Филиппов. — Если ваши спутники позволят... на минутку.

Крафт обернулся к своему столику и громко сказал:

— Я сейчас вернусь! Да, я с удовольствием, господин инженер! Я очень, очень рад, что перед отъездом все таки увидел вас. Мы с господином инженером, — обратился Крафт к дамам, — враги по фронту и друзья по мысли.

— Да, нам господин Филиппов рассказывал, это такая оригинальная встреча, — ответила за всех Анна Петровна.

— И за эту встречу, да и за нашу сегодняшнюю встречу я хочу выпить! От чистого сердца полный бокал!

Филиппов подозвал лакея, заказал бутылку грав и попросил принести чистый бокал.

— Ах, пустое! Мы с вами выпьем из одного! Еще крепче будет! Жаль, что уже нет времени поговорить — я утром уезжаю. Но ведь мы еще увидимся, я напишу вам. Вот, — он из жилетного кармана вынул темно-зеленую записную книжечку, — напишите сюда свой адрес. Не правда-ли, здесь сегодня довольно весело? — обратился он к дамам? — И музыка и вино подогрели настроение и танцы становятся совсем откровенными...

Крафт скользнул взглядом по Ирине и спросил у Анны Петровны:

— Вы тоже танцуете модные танцы? Я знаю, что многие русские предпочитают старинный вальс... Мне кажется, что можно совместить — и танго и вальс, как можно есть салат и суп, а после мороженное или, по французски, сыр. А? — спросил он и сам первый рассмеялся. — Надо жить и веселиться и не думать над тем, что лучше и что хуже.

Лакей принес вино и бокал, Филиппов налил, Крафт передавал бокалы дамам и первый сказал Филиппову:

— Ваше здоровье! Прошу дам простить, что первый тост не за дам — у нас старые счеты.

Он выпил, поставил бокал и предложил:

— Теперь надо выпить за дам. Без женщины сердце мужчины пусто, это несомненный факт, — балагурил Крафт, пока Филиппов разливал вино. — Впрочем, как и сердце женщины без мужчины, смею надеяться. Итак — за полное сердце!

— За успех! — ответила Анна Петровна.

— За счастье! — добавил Филиппов.

Все выпили и Крафт встал. Его глубокие синие глаза были спокойны, на лбу едва заметно белел узкий шрам.

— Простите, я должен вернуться. Мы еще здесь увидимся, — обратился он к Филиппову, — вы ведь еще потанцуете? Простите, тут так аппетитно лежит этот кусочек сыру, я его возьму. Можно? — с беззаботной улыбкой спросил Крафт и, не ожидая ответа, взял в рот прозрачный ломтик сыру. — Честь имею кланяться!

Полупоклоном он простился и легкой походкой пошел через зал.

— Просто не верится, что это он написал «Распятие» и от всех своих мыслей попал в сумасшедший дом! — Анна Петровна пожала плечами. Николай задумчиво произнес:

— Странное дело эти сердца человеческие. А впрочем — это ведь художник! У них, у артистов, это все бывает иначе.

— Тут дело не в артисте, — горячо возразил Филиппов, — это был страдающий человек, страждущий, мучающийся... А сейчас — развлекающийся дэнди.

— Воображаю, как рад его брат, — заметила Ирина. Филиппов вздрогнул и повернулся к Ирине.

— Ирочка, вы — прелесть! Вы одна вспомнили о человеке! Дайте вашу ручку!

Филиппов взволнованно поцеловал ей руку, застеснялся, полез в карман за папиросами, закурил, а тут музыка грохнула что-то сверхмодное, потому что завывания саксофона покрыли весь оркестр. Филиппов встал и поклонился Ирине.

— Можно просить?

Они в танце прошли через густую толпу до угла и почти столкнулись с Крафтом. Улыбаясь, он шутил со своей дамой, которая беспрерывно смеялась, закидывая голову назад. Ее пунсовые губы и подведенные глаза, казалось, тянулись к Крафту, а художник балагурил, то сжимал и крутил свою даму, то осторожно и ловко ее вел среди танцующих.

— Правда, Ира, интересный мужчина? — спросил Филиппов. — Он тут выделяется.

— В нем есть что-то подкупающее. Он словно не думает, что делает и все получается так хорошо, так приятно. Но я верю, что это он написал «Распятие».

— То есть, как это верите? Разве кто-нибудь... что же я... неправду говорил?

— Нет, нет! Я не так сказала. Я верю, я чувствую, что именно он может написать такое «Распятие» и попасть в сумасшедший дом. Он теперь будто играет свою роль, уж очень хорошо все выходит. Или я ничего не понимаю.

— Может быть, вы и правы, но я, пока что, тоже ничего не понимаю. А, может быть, это и хорошо? И не надо сейчас решать что и почему. Я вот танцую с вами и мне хорошо. И зачем думать еще о чем-то?

Анна Петровна, сидя рядом с мужем, смотрела на танцующих.

— Что-ж, Коля, если ты меня не приглашаешь, можно мне тебя пригласить?

— Прости, Аник! Я смотрел на Крафта... Чорт его разберет. Веселится, как будто никогда и не видел никакого «Распятия», а о сумасшедшем доме и не слышал.

— Может быть, он хочет забыться?

— Может быть. А Ирина то наша отплясывает!

— Я очень рада за нее. И Андрей Павлович сегодня какой-то особенный. Смотри, вон они.

Вставая со стула, она чуть кивнула головой. Коренастый, широкий в плечах, Филиппов осторожно вел Ирину среди танцующих и что-то говорил. Он был поч-

ти на голову выше своей дамы. Ирина вскинула на него свой взгляд и словно подалась к нему.

— Хорошая пара. Ну, что, идем? Чем мы хуже других?

Прошел еще час и два, прошла полночь, когда подошел Крафт и весело попрощался.

— Будьте здоровы. Мы едем продолжать. Ведь до поезда у меня времени много! Я вам напишу. Честь имею кланяться!

Он отвесил дамам поклон и пошел среди танцующих. Легко и гордо он нес свою красивую голову над толпой. Филиппов следил за ним, пока он не скрылся в дверях.

— Ну, вот. Какая-то глава интересного романа кончена.

Николай сидел рядом с женой и о чем-то говорил. Ирина откинулась на спинку стула и устало предложила ехать домой.

— Уже поздно. Не пора-ли кончать?

— Как прикажете. Во всяком случае, Коля, я заеду за тобой к половине одиннадцатого, чтобы к одиннадцати быть у Мелоуна и решить окончательно. Вернее — закончить формальности.

— Что-ж, ехать, так ехать, сказал попугай. Пожалуй, и правда, пора по домам.

Стали собираться. Пришел лакей со счетом, Николай хотел все платить сам, но Филиппов решительно запротестовал.

— Если уж платить, так пополам.

— Так ведь я ж звал спрыснуть!

— Это еще успеешь, а сегодня мы все вместе веселились, будем же веселиться до конца вместе. Знаешь, по чешской пословице: главное веселье, это когда счет приносят!

У вешалки, помогая надеть шубу, он спросил у Ирины:

— Я вас завтра увижу?

— Да, я буду дома.

Выйдя на Вацлавскую площадь, тускло освещенную ночными фонарями, Филиппов подошел к стоящим таксомоторам и взял машину.

— Зачем это вы? Ведь можно и пешком. Погода хорошая.

— Нет, уж позвольте мне проводить вас. Пожалуйте!

ГЛАВА X

НЯ, поздравь — я назначен в Турнов! Завтра мы с Андреем уезжаем, дня через три я вернусь и скажу — поедешь ли и ты туда или я буду по субботам приезжать. Полторы тысячи и суточные, дело хлебное. И опять надо благодарить этого миротворца.

Николай показал глазами на Филиппова, с улыбкой смотрящего на Анну Петровну.

— Причем же я здесь? Сегодня шло все как по маслу.

— Ты тоже вставил свое слово.

— Я ж не рыба, чтобы молчать.

— Это все прекрасно, господа, но я вас ждала к обеду, а сейчас уже шестой час.

— Простите, Анна Петровна, мы остались там обедать, потому что в два часа было назначено придти к директору. Раньше никак не могли.

— Ладно уж, раздевайтесь. Что вам дать — чаю или посолиднее? У меня весь обед готов.

— Дай закусить, Аня, я привез вот...

Николай раскрыл портфель и вынул бутылку.

— Я по дороге коньячку захватил.

— Вот ты зачем в магазин заходил! И ни слова не сказал!

— А к чему слова? Знаешь, после вчерашнего рюмку хорошо выпить. К тому же аванс получен. Да, Аня, вот пятьсот крон!

Сидя за столом, Николай рассказывал все подробности делового разговора. Выпили по рюмке коньяку.

— Ирина дома? — спросил Филиппов.

— Нет. Она ждала вас к обеду, а теперь у нее что-то в консерватории. Она, верно, скоро придет. Вы не были вчера на лекции Кизеветтера?

— Нет. О чем он читал?

— О Екатерине Великой. Интересно было. Уж очень хорошо он говорит. Я стараюсь не пропускать русских лекций, их теперь так мало.

— Да, прошли времена русских лекций. А помните, Анна Петровна, как чуть-ли не через день — то концерт русской музыки, то русский спектакль, то литературный вечер... Прошли наши студенческие годы, а с ними и блеск русской жизни в Праге. Впрочем, тогда в Праге было три тысячи русских студентов и больше полусотни профессоров, да еще каких — и Струве, и Новгородцев и Завадский...

— А помните наши балы? Одни балы юристов чего стоили! Весь дипломатический корпус бывал. Теперь что — остались библиотеки, церковь да изредка спектакли.

— Что-ж, и это хорошо, — вставил Николай. — Все-таки можно оставаться русским и пользоваться благами русской культуры. Где, пожалуй, кроме Парижа, столько русских книг? А у нас в земгоровской библиотеке их больше 30.000, да в Славянской почти столько же.

Прошло полчаса, прошел час. Филиппов почувствовал желание побыть одному и сказал, что уходит.

— Надо кое что приготовить. Я еще хочу завтра утром проехать к Крафту, к брату, узнать как все это случилось. Значит, наш поезд уходит в семь двадцать, мы приедем к десяти, свободные номера в гостинице всегда есть, выспимся, а утром я проведу тебя в канцелярию.

— Ты завтра еще зайдешь или прямо на вокзале встретимся?

— Думаю, что заеду. Да, конечно, обязательно заеду. Я до обеда буду у Крафта и потом заеду к тебе. Передайте мой привет Ирине.

После ухода Филиппова Николай делился своими планами с женой.

— Как это удачно сложилось! Спасибо Филиппову, он хороший товарищ. Сегодня тоже заявил директору, что он желает иметь своим помощником меня, что он меня знает по работе... словом, во-время сказал.

— Кажется, у него опять наладилось с Ириной. Вчера он был просто счастлив, что опять был с ней и она таяла, поскольку наша Ирина может таять. Если бы не

встреча с Крафтом, может быть, вчерашний день у них закончился бы объяснением.

— У Ирины семь пятниц на неделе. А впрочем — дай им Бог! Я искренно желаю Андрею всего доброго. Если ему Ирина нравится, так в чем же дело? И катай!

— Будто ты не знаешь Ирину! Помнишь — «Я очень люблю горький шоколад, но могу и воздержаться. Это унизительно — не воздержаться и съесть...» Вот она и воздерживалась.

— Ничего, увидим. Если ты переедешь в Турнов, Ирина одна останется. Хорошо ли это? Впрочем, не будем обсуждать, пока все не выясним. Важно, что заработок есть. Надо мне костюм купить и тебе приодеться. А Ирине подарю туфельки, как она любит: коричневые лодочки. Что там еще надо, это уже ты скажешь.

— А мне будет скучно, когда ты уедешь...

— Аник, я ведь на несколько дней, это же три часа пути! Главное — просвет есть, а то сама знаешь, в тупике сидели, не знали, что раньше — долги платить или нужную вещь купить.

— Вот о нужных вещах. Ты вчера обратил внимание, что у Андрея Павловича бумажник-то совсем старенький. Вот ему надо этот подарок сделать.

— Молодец, Аник! Верно! Сделаем. А теперь не пора-ли лечь? Я что-то устал да и после вчерашнего не выспался. Пойдем, женка, а?

— Идем, Коля.

*

Филиппов проснулся поздно и сразу же испугался, что проспал. Увидев, что всего десять часов, он успокоился, лег, полежал еще несколько минут. Потом встал, пошел мыться и все время думал о том, что через час увидит Крафта старшего и все узнает. Затем заедет к Андриевским, увидит Ирину... И надо ехать в Турнов... когда-то снова увидит Ирину? Вчера она была такая славная...

Вернувшись из ванной, он остановился посреди комнаты, вытирая на-сухо шею, и взгляд его задержался на «Раненом».

«Это все, что у меня осталось от Крафта», — вспыхнула мысль. — «А что-же, собственно, было? Он выздоровел, а я будто грущу... Как страдает этот раненый! Как у него болит плечо! Чем больше смотришь на картину, тем больше понимаешь ее. Большой мастер Крафт!

Ну, пора. Где-же кофе?» Филиппов прошел к хозяйке, постучал.

— Можно кофе?

— Да, я сейчас подогрею. Вы сегодня так поздно встали...

— Дайте холодного, я спешу.

Он съел булочку с маслом и, стоя, запил ее холодным кофе, быстро надел пальто и почти сбежал с лестницы.

На звонок долго никто не открывал и Филиппов уже хотел уйти, думая, что никого нет дома. В это время послышались осторожные шаги, дверь приоткрылась и выглянул Крафт старший. Он вздрогнул, выпрямился и молча стоял в медленно, все шире и шире, раскрывающейся двери.

— Здравствуйте! Можно?

— Иезус Мария! — наконец прошептал Крафт. Это вы... Кто вас... Идите, идите!

Он высунулся, схватил Филиппова за руку и втащил в переднюю. Не оглядываясь на стоявшего в смятении Филиппова, Крафт быстро закрыл дверь и повернул ключ. Потом посмотрел острым, колючим взглядом и усмехнулся.

— Он придет и напомнит обо мне... Что-ж, идем. Пожалуйста, прошу вас!

Крафт указал рукой в корридор, не обращая внимания, что Филиппов был в пальто, и пошел впереди к полураскрытой двери ателье, распахнул ее и остановился, пропуская гостя. Филиппов сделал два шага и замер на месте.

Прямо перед ним на стене висела знакомая рама «Распятия», но «Распятия» не было. Зияющая пустота заполнила три четверти рамы, только в нижнем углу осталась кровоточащая ступня и темная фигура склоненной женщины. Обрывки изрезанного полотна покрывали пол и грязными тряпками валялись у стены, где на табурете поблескивал нож.

— Что вы сделали? — прошептал Филиппов.

— Уничтожил... уничтожил! — шопотом ответил Крафт и только тут Филиппов заметил, что Крафт дрожит мелкой дрожью и весь серо-желтый, без кровинки.

— Карл уехал, он здоров и больше не будет болеть! Не будет! — вдруг выкрикнул Крафт. — Вы понимаете, эта проклятая картина висела как вечная угроза! И кто-

то должен был снять с нашего дома это проклятие... Да, я решился, я отважился и пусть меня судят! Но кто посмеет в меня бросить камень? Я десять лет несу этот крест, брат упал под его тяжестью и неужели кто-нибудь осудит? Сам Распятый простит меня! Да, простит! Он простил, уже простил... Когда я ударил ножом, Он весь вздрогнул, Его лицо сжалось и что-то прошептало. И я верю, что это были слова прощения... Потому что, когда я резал и резал и вырывал целые полосы, мне было легко, словно я перешагнул запретный порог и совершил то, к чему предназначен. Брат сам себя распял и я искуплю! Я искуплю! — Крафт пошатнулся, Филиппов поддержал его и оглянулся, ища стула. Крафт оперся на руку Филиппова и доверчиво проговорил:

— Брат мне сказал: Придет господин Филиппов и напомнит тебе обо мне! Я не понимал... Почему напомнит? Будто я могу забыть о Карле? А вот оно что... Только вы... вы понимаете меня? Да? Да? Вы понимаете, что «Распятие» слишком большая цена для жизни моего брата? Еще раз и он бы не выжил или на всю жизнь остался бы в больнице. А теперь он здоров и будет здоров!

Крафт поднял брови и его взгляд, не то удивленный, не то просящий, тронул Филиппова, как мольба ребенка.

— Вам надо сесть. Идем. Вот тут в углу есть кресла.

Он повел Крафта к тем креслам, в которых в памятный вечер сидел с художником.

— Ах, да... вы все еще в пальто. Тут тепло. Разденьтесь, пожалуйста, повесьте его вот тут! Здесь брат вешал свой халат и натурщики здесь оставляли свое платье. Ах, какой я рассеянный...

Крафт засуетился, стал будто прежним Крафтом, но не успел Филиппов снять пальто и повесить его, как Крафт встал, взял под руку и доверительно и настойчиво сказал:

— Вы должны мне помочь! Вы уже здесь, вы все знаете... Скоро придет жена. С вокзала она поехала к сестре, а я сказал, что пообедаю в ресторане. Она сегодня дома не варила... А я прямо сюда. Надо все кончить до ее возвращения. Вы поможете, да? Я вырежу все полотно, но его надо сжечь. Понимаете, чтобы ничего не осталось!

Крафт поднял указательный палец, потом быстрыми шагами пошел к стене, схватил с табурета нож, вон-

зил его в полотно вплотную у рамы и резким движением рванул вниз. Короткий звук пробившего полотно ножа, а затем сухой режущий треск так поразили Филиппова, что он стоял, не шевелясь. А Крафт опять засадил нож и вырезал весь нижний угол. Ступня затрепетала, скрутилась и упала... Филиппов подошел к самой раме. За обрывками темно-окрашенного полотна висела паутина, серела пыль.

— Прошу вас, соберите обрезки! Да, я сейчас принесу корзину. А, вот здесь есть, это для бумаг, она прекрасно годится.

Он быстрыми шажками прошел к углу, взял у столика круглую высокую корзину и принес к раме. Постоял, посмотрел, поджал губы и тяжело задышал.

— Пожалуйста, помогите, а я буду кончать... Надо вырезать все, все, чтобы осталась только пустая рама. И раму тоже надо снять. Вот в чем дело — надо снять раму! Помогите, я буду снимать, а вы поддержите!

Неожиданно быстро и легко Крафт подставил табурет, стал на него, вытянулся, но не смог достать до верхнего края рамы. Он соскочил с табурета, почти пробежал в угол, взял палку с крючком на конце, опять взял табурет, поддел раму и крикнул: «Приподнимите! Держите крепко»! Филиппов поддержал раму, с трудом поставил ее, потом с помощью Крафта положил на пол. Крафт тотчас же схватил нож и принялся вырезывать остатки полотна, а Филиппов их аккуратно собирал в корзину и уминал.

— Я сейчас покажу вам, у меня в кабинете горит печь, вот туда все и бросьте! Идем.

Он засеменил впереди, Филиппов внес корзину в кабинет и в открытую дверцу большой коксовой печи стал бросать ленты пропитанного масляной краской полотна. Оно горело жарко и гулко, после каждой охапки надо было закрывать дверцу, потому что в комнату проникал горький запах горелого масла. Крафт ушел в ателье, Филиппов остался один и у него возникла мысль: оставить себе хоть кусочек! Вытягивая из корзины плотно засунутые обрезки, он видел полосы тела, будто мелькнули пальцы...

«Нет, ни кусочка! Сжечь все без остатка или все это будет бессмысленно!..» И от этой мысли Филиппову стало не по себе. «Черт, этак и я с ума сойду! Оставить! Спокойно сжечь все, чтобы не было сору... «Распятие»

Крафта стало сором... За то он сам здоров. Но не за то! Не потому! А вдруг?»

— Вот спасибо! — сказал неслышно вошедший Крафт и Филиппов всем телом вздрогнул. — Я еще немного принес. Я вам помогу. Откройте дверцу! О, уже там полно! Ничего, краска быстро прогорает, мы опять герметически закроем и останется вместе с коксом только пепел. Я сейчас унесу раму в чулан. Хотя, пусть она стоит в углу, это я потом... Ну, здесь мы кончили. Оставьте корзину здесь, я потом приберу.

Крафт также неслышно вышел. Филиппов встал и медленно пошел в ателье. Прямо перед ним на стене ясно вырисовывался светлый четырехугольник с темным бордюром пыли. Это было все, что осталось от «Распятия». На табурете сидел Крафт и тихо покачивал ногой, перекинутой на ногу. Где-то за окном протяжно выл фабричный гудок.

Филиппов встал. Крафт резко повернулся, тоже встал, подошел и, глядя куда-то мимо Филиппова, словно смотрел ему на ухо или на лоб, сухо сказал:

— Вы можете уйти. Я виноват во всем и я один несу ответственность. Можете рассказать кому угодно. Я виноват, но я прав! Да, прав! — вдруг выкрикнул он и, весь выпрямившись, бросил в лицо Филиппову:

— Я прав! Я снял проклятье с нашего дома, я излечил моего брата. Я изрезал и сжег без остатка... без остатка... сжег «Распятие»... Боже милосердный, ты видишь, что я прав! Так надо, я не мог иначе...

Крафт задохнулся, стал как-то ниже, кровь прилила ему к лицу, он пошатнулся и упал бы, если бы Филиппов не поддержал. Бережно, как больного ребенка, он довел Крафта к креслу, посадил, пошел в кухню, нашел кружку и принес воды.

— Выпейте, это успокоит. Не надо волноваться. Сделанного не воротить, а если вы правы — так и жалеть не о чем.

— Я не жалею, о, нет! Я счастлив, я горд, я радуюсь! Смотрите, я смеюсь! Ха-ха... гр... он закашлялся, схватился за грудь и протянул руку к кружке с водой. Сделав глоток, он глубоко вздохнул и глубже сел в кресло.

— Господин инженер, вы еще придете ко мне?

— Да, конечно, только... я сегодня должен уехать в Турнов. Я теперь там работаю. Но я скоро вернусь и приду к вам.

— И вы уезжаете... Что ж, хорошо. Скоро придет жена. Который час? — Он вынул часы.—О, уже скоро два. Так прощайте! Если будете в Праге, зайдите. Мы теперь связаны, но не так, как вы с братом... Вы были свидетелем, как я освободил брата от им же созданного проклятья! Нельзя создавать такие картины, нельзя! Идем, я вас провожу.

Он встал и мелкими шагами пошел к двери. Филиппов быстро снял с вешалки пальто, наскоро надел его и нагнал Крафта, отпирающего входную дверь.

— До свидания, господин Крафт!

— До свидания! Приходите и не бойтесь: «Распятия» нет, нет! — крикнул Крафт и захлопнул дверь.

Выйдя на улицу, Филиппов долго шел без цели. Пройдя несколько кварталов, он вышел на мост. Разделенная островом, Влтава казалась совсем широкой полноводной рекой. Свинцово-серые тяжелые волны с кусочками ломаного льда мерно катились и царапали обледенелые берега. Кое-где под деревьями острова лежал снег. Дул холодный февральский ветер и гнал низкие облака, растрепанные и косматые. Вот-вот не то снег пойдет, не то крупа посыпет.

Влево, за гремящей плотиной и большим пространством чистой воды, стоял серо-желтый древний Карлов мост и фигуры святых чуть виднелись на темном фоне покрытого парком высокого берега. А над всем, как традиционное видение, выступали Градчаны, тупые казарменные корпуса замка чешских королей, увенчанные готическим взлетом кружевной башни храма святого Вита.

Знакомая и близкая сердцу каждого пражанина картина чуть скользнула в сознании Филиппова, но рефлекс оказался очень резким.

«...Все стоит, как и раньше. Сегодня, вчера, сто лет назад... А я? Причем я? «Распятия» нет! Кто и когда создаст что-нибудь подобное? И какое возмездие будет тому художнику? Ибо всему, и доброму и злому, должно быть по делам его... И Крафту! А его пацифизм! Эх, пацифизм хорош, а вот на деле надо бороться и нечего слюни распускать и толстовским непротивлением злу заниматься... Насилия безропотно терпеть нельзя и чем оно грубее, тем решительнее должна быть борьба, только надо быть честным и помнить о правде и справедливости. Все, даже свое счастье, надо завоевать... Куда же теперь? Надо рассказать Николаю!»

Продрогший Филиппов ускорил шаг, перешел мост и у Народного театра сел в трамвай. Стучали колеса, гремел вагон, толкались пассажиры, а перед глазами вставала дрожащая окровавленная ступня, ленты изрезанного полотна, до желта раскаленные угли с синими язычками и коробившееся полотно, воспаленные глаза Крафта... Потом выплыла веселая улыбка, чуть приметный белый шрам под лоснящимся пробором... потом голубые глаза и русые локоны... Может быть, будет дома Ирина?..

ГЛАВА XI

ИРИНА была дома и открыла дверь Филиппову.

— Здравствуйте, Андрей Павлович! Вы к Николаю? Он, конечно, ушел стричься. Он всегда бреется перед отходом и не успел постричься до дня отъезда. Аня тоже с ним.

Филиппов молча снял пальто и подошел к Ирине.

— Здравствуйте, Ирочка!

Он поцеловал протянутую руку и вошел в комнату. Ирина удивленно шла за ним. Филиппов сел на диван, провел по голове ладонью.

— Так-то, Ира.

— Что случилось? Что с вами, Андрей Павлович?

— Со мной? Ничего... А кое что случилось.

— Что же? С кем? Не томите!

— Крафт уничтожил «Распятие»! Изрезал и сжег.

— Что? Как?

— И я помогал жечь...

— Вы? Что он, опять с ума сошел?

— Да не он, а его брат. Он, кажется, действительно, немного сошел... Впрочем, я сам не знаю.

— Андрей Павлович, расскажите толком!

— Что ж... Прихожу я к Крафту. Никто не открывает. Потом осторожно открылась дверь и Крафт, это брат, с перекошенным лицом шепчет «Иезус Мария! Это вы! Он придет и напомнит...» Я застал «Распятие» уже почти изрезанным... только дрожала ступня Спасителя... и кровь будто капала. А Крафт и кричал и шептал, что он снял проклятие и что его брат больше не будет болеть, что он один виноват — это когда я жег изрезанные полосы — что он вину берет на себя, что он

прав... Ирина, я больше не могу! То Крафт с ума сходит, то он вдруг здоров и франтом кутит в баре, а теперь его брат сошел с ума оттого, что тот выздоровел.

Филиппов опустил голову и крепко сжал ее двумя руками. И вдруг почувствовал на своей голове легкое прикосновение. Он поднял голову и, поднимая, ощутил теплоту руки. Он схватил Иринину руку и покрыл ее поцелуями.

— Ирочка, вы хорошая! Не сердитесь на меня! Я сегодня сам чуть с ума не сошел... Можно попросить воды?

Ирина молча вышла из комнаты и тотчас же принесла стакан.

— Выпейте и успокойтесь. Может быть, так и надо? Его картина никому не принесла счастья, а этого нельзя делать безнаказанно...

— Нельзя не приносить счастья? Значит, обязательно надо приносить счастье?

— Конечно, надо стараться делать добро, значит — приносить счастье.

— И вы его приносите?

— Я? Не знаю. Но хочу.

— Хотите? Хотите и мне принести счастье? Ира?

Ирина опустила глаза. Филиппов встал и взял ее за руку.

— Ира, принесите мне счастье! Я прошу вас!

— Хорошо... постараюсь.

— Правда? Ирочка, радость моя!

Он поцеловал ее руку и притянул к себе. Ирина ответила на поцелуй и так они стояли, пока Филиппов не покачнулся.

— Простите, Ирочка... что я... Боже, как я счастлив! Неужели и я своим участием снял если не проклятье, то запрет счастья? Ведь это счастье, правда, Ира?

— Глупый вы... кто же вам запрещал это счастье?

— Мне? А... Но ведь это все только было, а не есть и не будет! И если сейчас у меня закружилась голова, так только от счастья!

— А этого нельзя! Когда голова кружится от счастья или от успеха, можно наделать глупостей.

— Да я готов вперед на любую глупость от счастья! От счастья, что вы меня... любите! Ведь это правда, вы меня любите?

— Глупый вы!

— Так мне и надо! И я готов от радости действительно поглупеть. Радость вы моя!

Он схватил Ирину за талию и прижался головой к ее груди. Запах девичьей одежды, теплота тела, упругость груди — все это охватило Филиппова как ощущение до душноты знойной радости и он со слезами в голосе признался:

— Боже, как я счастлив, Ира!

От этого сна счастья их пробудил короткий звонок. Ирина пошла открыть двери — почтальон принес газету. Пока Ирина ходила, Филиппов успел сделать по комнате несколько шагов и на буфете увидел хлеб. Засосало под ложечкой и просто захотелось есть. Вспомнилось, что он еще ничего не ел. Когда Ирина вернулась, она увидела стоящего перед буфетом Андрея.

— Что вы?

— Знаете, Ира, это, верно, очень глупо. Я увидел хлеб и вспомнил, что сегодня еще ничего не ел. Я утром выпил холодный кофе и поехал к Крафту.

— Глупый, отчего же вы не сказали? Подождите, я сейчас принесу.

— Нет, пойдем вместе.

— Андрей... Пав...

— Не надо дальше! Ира, мне последнее время было так неловко, что я вас зову Ириной, а вы меня Андреем Павловичем. Будем теперь квиты, хорошо?

— Андрей... ах, как хорошо!

Она бросилась к Филиппову и прижалась к нему, а он, наклонившись, тихо целовал шею с нежными, короткими, светившимися против окна, волосиками и мысль его перебегала с одного на другое... Какая нежная шея... я сегодня не брился...

Ирина подняла голову и, глядя в глаза, строго, нежно и задорно сказала:

— Но все таки идем в кухню. Вам надо поесть.

Когда в дверях повернулся ключ и в переднюю вошли Анна Петровна и Николай, до них сразу донесся запах жареного. Анна Петровна вошла в комнату и на пороге остановилась: за столом сидели Ирина и Филиппов. Филиппов с аппетитом ел жареный картофель, а Ирина мешала ложечкой чай в стакане.

— Вот так идиллия!

Филиппов вскочил.

— Поздравьте, Анна Петровна!

— Аня, Крафт сжег «Распятие»!

— Подождите, с чем же поздравлять?

Ирина встала и стояла, держась за спинку стула. Филиппов вытер платком губы, подошел, поцеловал руку Анне Петровне, поздоровался с Николаем и, подавляя волнение, сказал:

— Да, Крафт, старший брат, сжег «Распятие», но дело не в этом... то есть в том, словом, независимо от этого... поздравьте нас, меня и Ирину.

Он подошел к Ирине и поцеловал ей руку. Анна Петровна на секунду замерла, потом быстро подошла к сестре, взяла ее за подбородок и хотела посмотреть ей в глаза, но Ирина бросилась к ней на шею и расплакалась.

— Ну, вот, давно бы так! Я рада за тебя, моя девочка!

— Да когда же вы, господа, это успели? — не вытерпел Николай. — Это, значит, твердо и серьезно?

— Вполне твердо и очень серьезно, — ответил Филиппов и подошел к сестрам.

— Ирочка!

— Андрей Павлович! Искренно рада! Дай вам Бог счастья! И вам и Ире! А что же это ты его картошкой потчуешь?

— Андрей... Павлович еще ничего не ел. У него кружилась голова и он ничего не сказал... Я подогрела, что было.

— Тут у вас что-то произошло и я не понимаю. Расскажите толком, хотя от влюбленных толку не добиться!

— Аня, не надо так!

— Господа, вам Ирина расскажет, а я съезжу за чемоданом и от вас все вместе поедем на вокзал. Смотрите, уже четверть пятого.

После ухода Андрея Ирина, перескакивая с одного на другое, рассказала о появлении Филиппова, передала его рассказ о том, как Крафт изрезал картину.

— Ну, а у вас-то как это вышло? Или это уже давно? — допытывалась Анна Петровна.

— Да нет... ну, словом, сейчас... то есть я давно... Андрей сказал, что он давно. Ну, брось это!

— Поздравляю тебя, Ирка! — Николай обнял Ирину и звонко поцеловал. — Андрей хороший человек. Он очень порядочный и честный, а это в наше время штука ред-

кая. Дай Бог и тебе и ему! Что ж, Аня, может быть, через какой-то срок все вместе и переедем в Турнов? Мы тут, Ирина, как-то обсуждали этот вопрос — если Аня переехала бы ко мне, так тебе тут одной было бы неловко оставаться. А теперь нет больше вопросов. Будет можно — переедем все вместе. А Ирина будет начальством. — Помилуйте, супруга главного инженера!

— Не дразни, Коля, не порти настроение!

— Так я ж для хорошего настроения! Я любя. Эх, спрыснуть бы!

— Брось ты, Коля свои спрыскивания! Протратились позавчера, сегодня сколько истратили.

— И ладно! Еще заработаем. А на дорогу посошок выпить надо. Я сейчас принесу бутылочку, пока вы тут ваши женские дела обсуждать будете. Хотя времени у вас будет уйма!

Николай надел пальто и вышел из квартиры.

ГЛАВА XII

А ярко освещенном перроне Вильсоновского вокзала дул холодный ветер и нес едкий дым от где-то стоящих паровозов. Скорый поезд на Турнов был уже подан, в купе лежали чемоданы, места были заняты и Андрей с Николаем стояли вместе с Ириной и Анной Петровной.

— Стало быть, Аня, жди от меня письма дня через три. Надо осмотреться.

— А от вас когда? — спросила Ирина.

— Завтра к вечеру. Письма экспресс разносят особые почтальоны.

В глазах Ирины блеснули задорные искорки.

— А если опоздает?

— Вините почтальона.

Перед вагонами забегали кондуктора.

— Садиться! Запираем двери!

Филиппов подошел к Ирине, снял шляпу. Ирина протянула руку, Андрей поцеловал, а потом, как то сразу, обнял ее и крепко поцеловал в губы.

— Будьте веселы, Ирина!

— Ну, дайте и я вас поцелую, Андрей Павлович! Вы теперь свой!

Анна Петровна поцеловала Филиппова в обе щеки.

— Аня, я буду ревновать! — пошутила Ирина. — Никогда не целовались, а как раз сегодня вздумали.

— Так я же теперь вроде тещи!

— Ну, теща, будь здорова! Счастливо оставаться!

Николай быстро поцеловал жену, Ирину и вскочил на ступеньку трогающегося поезда. Андрей открыл в корридоре окно и махал шляпой. Перрон медленно уплывал, все меньше и меньше становилось дорогое лицо в рамке русых волос, потом оно смешалось с другим, рядом стоящим, и расплылось в общей массе толпы провожаю-

щих. Только белый платочек еще долго трепетал на темном фоне, упрямо не желая растаять в дали. Поезд завернул к тоннелю и платочек закрыла серая стена заднего вагона. Филиппов закрыл окно и повернулся к Николаю.

— Что ж, Андрей, закурили?

— Закурили.

Поезд вошел в тоннель, в вагоны проник паровозный дым.

— Завидую я тебе, Андрей! Начинаешь новую жизнь. Нам Ирина рассказала, как Крафт изрезал картину. Что он, правда, того — сбрендил?

— Не знаю. Что-то похоже. Во всяком случае, навязчивая идея несомненна. Знаешь, я вчера сам поддался, уже начал думать глупости... Да, насчет идеи. Все-таки у Крафта художника — идея высокого общественного служения и ее забыть нельзя, как нельзя забыть и его «Распятия». Этого я не забыл и не забуду.

— Может быть, он и прав, но его картина давила, она влияла и влияла нездорово. И проще отрубить и начать сначала. Тут, быть может, прав и Крафт старший. Пусть «Распятие» картина замечательная, но ведь всегда и во веки веков Распятие было и останется не осуждением, а искуплением и не ради идеи, а ради людей. Так или иначе, пусть это для тебя будет счастливым предзнаменованием!

Поезд вырвался из тоннеля и в окнах замелькали огни железнодорожных фонарей. Стук колес становился все более мерным и быстрым, в окнах мутным заревом трепетали отсветы Праги и все бледнели и бледнели. Окна становились темными и пустыми. Поезд прогремел по мосту, опять замелькали огни и снова в окнах стало темно и пусто.

Филиппов, не глядя, глядел в окно. Прага осталась позади. В ней не было больше «Распятия» и образ Распятого, страдающего в смертных муках ради искупления людей, стоял рядом с образом Ирины, зовущей к добру и наполняющей сердце теплой и чистой радостью.

И это не было кощунством, ибо такова жизнь.

Мюнхен-Фельдмохинг.

1946.

Все права сохранены за автором.

Approved by UNRRA Team 631

Цена: Мк. 8.00